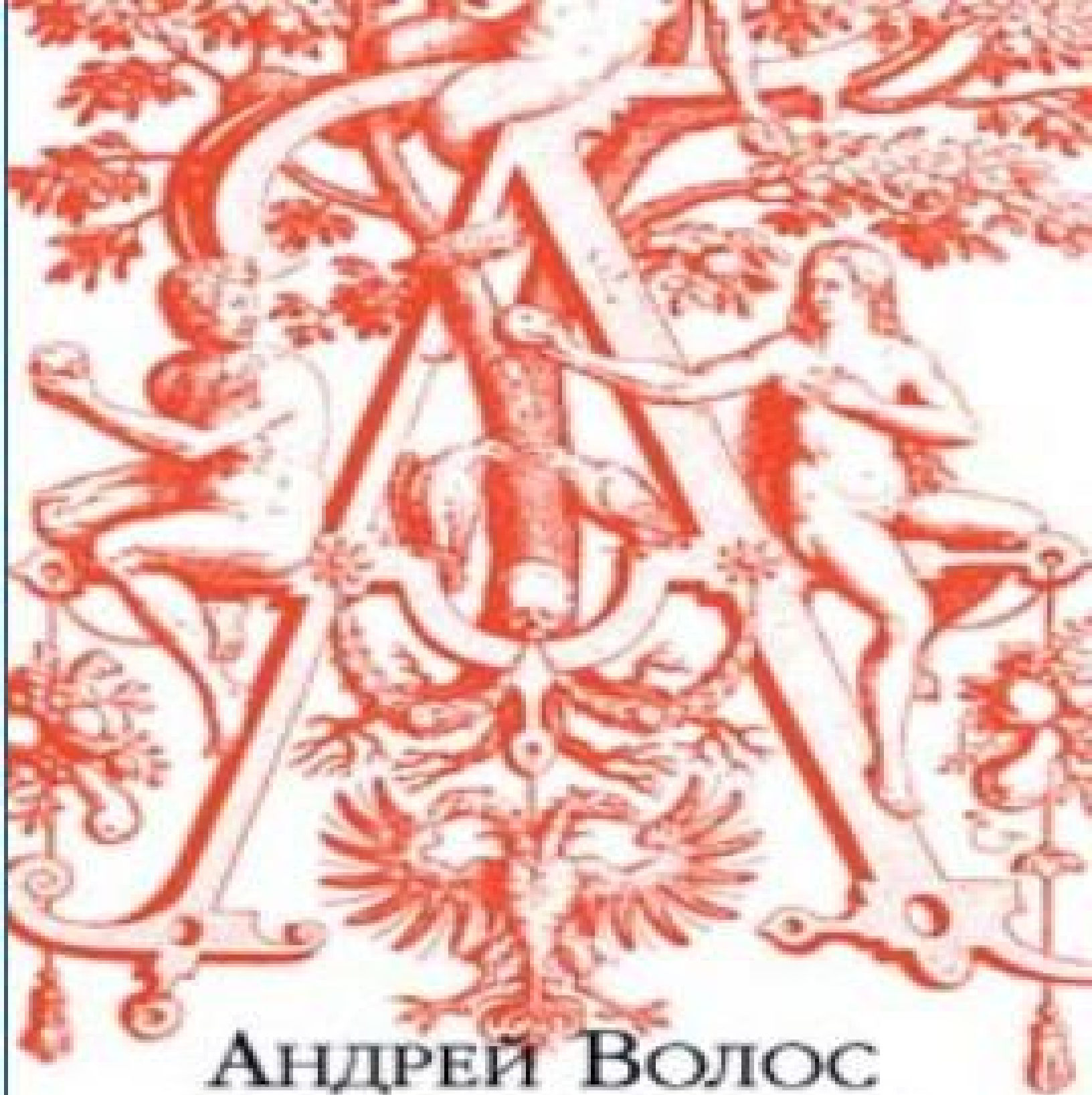




АНДРЕЙ ВОЛОС
АЛФАВИТА

КНИГА СООТВЕТСТВИЯ

ЛАУРЕАТЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ

Annotation

Новая книга лауреата Госпремии РФ по литературе Андрея Волоса – это алфавитный Каталог. Или как его называет ее сам автор, "Алфавита. Книга соответствий". Подобные каталоги человеческой жизни в свое время создавали Хорхе Луис Борхес, Хулио Кортасар, Милорад Павич. Их можно читать с любой главы, и каждый раз получать новый роман. Как всего 33 буквы алфавита учат ребенка читать бесконечное количество книг и познавать мир, так ALFA-VITA, "жизнь с первой буквы", ограниченная количеством историй, учит взрослого безграничности опыта и выбора. Автор выступает в роли демиурга, предлагающего читателю поиграть, составить "интерактивную" мозаику жизни.

- [Андрей Волос](#)
 -
 - [Абхазия](#)
 - [Анатомия свиньи](#)
 - [Анекдот](#)
 - [Армяне](#)
 - [Атлантида](#)
 - [Бог](#)
 - [Богачи](#)
 - [Ботинки](#)
 - [Буквы](#)
 - [Бурмастер](#)
 - [Бутылит](#)
 - [Вечность](#)
 - [Вещи](#)
 - [Вино](#)
 - [Волкодав](#)
 - [Вязанка дров](#)

- [Гений жизни](#)
- [Гостиница](#)
- [Грузины](#)
- [Двадцать копеек](#)
- [Дик Даглас](#)
- [Достопримечательности](#)
- [Доцент](#)
- [Евреи](#)
- [Женоненавистничество](#)
- [Заблудившийся трамвай](#)
- [Зависть](#)
- [Замок](#)
- [Зиё](#)
- [Интернет:-](#)
- [Казахи](#)
- [Кайф](#)
- [Каротаж](#)
- [Кеклик](#)
- [Кенкияк](#)
- [Классификации](#)
- [Клички](#)
- [Клэм-чауда](#)
- [Кофе](#)
- [Ковры](#)
- [Концентрация мысли](#)
- [Кукольный театр](#)
- [Лагман](#)
- [Локайцы](#)
- [Лукич](#)
- [Малина](#)
- [Мац](#)
- [Мельгано](#)
- [Мопед](#)
- [Насекомоядные](#)
- [Наука](#)
- [Национализм](#)

- [Национальность](#)
- [Новости](#)
- [Огурчики](#)
- [Осетины](#)
- [Палыч](#)
- [Партия](#)
- [Пассажиры](#)
- [Паук](#)
- [Пацифик](#)
- [Персик](#)
- [Печь](#)
- [Писатели](#)
- [Поле](#)
- [Помбур](#)
- [Попутчики](#)
- ["Почтовый ящик"](#)
- [Родословная](#)
- [С... По... Что делал](#)
- [Роговая обманка](#)
- [Русские](#)
- [Северный полюс](#)
- [Селитра](#)
- [Сосед](#)
- [Союзы](#)
- [Специализация](#)
- [Сплавные работы](#)
- [Стихи](#)
- [Стоп-кран](#)
- [Таджики](#)
- [Таможня](#)
- [Труба](#)
- [Учет](#)
- [Фаланги](#)
- [Филогенез](#)
- [Фирма](#)
- [Фокусы](#)

- [Фрадкин](#)
- [Хельга"](#)
- [Художник](#)
- [Чай](#)
- [Человек водочный](#)
- [Человечество](#)
- [Чемодан](#)
- [Черти](#)
- [Шум](#)
- [Щекотливое положение](#)
- [Ыйбен](#)
- [Экзамен по вождению](#)
- [Энциклопедия](#)
- [Юрка](#)
- [Язык](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной](#)
[электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)
[Все книги автора](#)
[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Андрей Волос

Алфавита. Книга соответствий

Друзьям.

Автор, самонадеянно потщившийся описать жизнь в алфавитном порядке, отдает себе отчет в том, что большая часть сей хаотической книги выглядит неправдоподобно, а подчас и просто нелепо. Вряд ли эти истории достойны прозвучать даже в компании самых непритязательных слушателей. Будучи же вынесены на всеобщий суд, они не могут не вызвать единодушного осуждения.

Алфавитное расположение статей и наличие перекрестных ссылок в тексте способно сбить с толку разве что самого простодушного и неопытного читателя, который, возможно, купится на эти наивные ухищрения. Сколько-нибудь опытный и разумный человек сразу скажет, что энциклопедическая форма носит совершенно искусственный характер и ни в коем случае не устраняет того ощущения необязательности, что остается после ознакомления с содержанием этого труда.

Я согласен: единственное, что оправдывает его существование, – это отсутствие хоть какой-нибудь выдумки.

Возможно, подобного оправдания все же недостаточно.

Но что делать – такова жизнь!..

Абхазия

В Алахадзе мы приехали... не знаю, почему мы приехали в Алахадзе.

Вообще, никому не известно, как это все подчас происходит. В общем, сели – и поехали.

И приехали в Алахадзе.

Слава был очень умный молодой человек. Мы с ним работали вместе.

Кроме того, он изучал философию.

Жарило октябрьское солнце, с моря дул холодный ветер, а мы лежали на грязной гальке, и Слава использовал свой шkodливый ум, чтобы подначивать меня на новые знакомства. Я знакомиться не очень хотел, но он то и дело поворачивал разговор таким образом, что мне приходилось вставать и вновь идти испытывать судьбу, пытаюсь отрекомендоваться очередным двум девушкам.

Солнце проникало под кожу и будоражило кровь, и вид у меня был, должно быть, шаловатый. То ли по этой причине, то ли просто потому, что все они были грузинками и желали встретить на жизненном пути соплеменника, девушки знакомиться категорически не хотели.

Предложение перекинуться в картишки наполняло их красивые глаза неизбывным ужасом.

Ближе к вечеру мы собрали вещички и пошли домой.

Мы снимали одну из комнат большого двухэтажного дома. Дом принадлежал пожилому усатому армянину (см.). Оказалось, что каждое утро начинается совершенно одинаково.

Без чего-то семь муж дочери хозяина заводил под нашим окном нещадно трещащий мотороллер.

Следом за ним выбегала его жена – собственно, дочка хозяина, – и ровно до без двадцати минут восемь они дико орали друг на друга.

Орали по-армянски, я ничего не понимал, да и они, похоже, плохо себя понимали.

Не знаю, на что они списывали расход бензина.

Потом он уезжал, она шла досыпать или готовить баклажаны.

Через час выходил хозяин и целый день гулял по участку, меланхолично рассматривая свою мушмулу.

Однако вечером первого дня мы еще не знали утреннего распорядка. Не знали и того, что в нашем положении лучше всего лежать, стена и с отвращением размазывая друг по другу простоквашу. Так мы провели последующие двое суток. А этим вечером Слава предложил идти на танцы.

Честно сказать, я засомневался. Слово "танцы" вообще никогда не вызывало во мне энтузиазма. А уж танцы в абхазской деревне и вовсе представились довольно сомнительным предприятием.

Однако Слава сообщил, что он уже все пронюхал – сегодня танцы происходят в санатории "Кодори", принадлежащем МВД ГрузССР. То есть там будут одни менты, что обещает совершенную безопасность.

Информация про то, что там будут одни менты, тоже не вызвала во мне радости (см. Персик). Я сослался на погоду – к вечеру ветер с моря стал очень холодным.

У него и на это нашелся ответ. Он полез в сумку и протянул мне свитер.

Это был синий свитер с красной полосой на груди. Полоса шла чуть наискось, придавая одеянию специфический военно-спортивный характер.

Кроме того, свитер был мне несколько маловат. Поэтому, когда я, уступая настоятельным просьбам

товарища, все-таки в него облачился, из зеркала на меня ошалело вытаращился почти совсем готовый

"бэтмен". Или человек-паук. Для завершения образа недоставало только черной маски.

Естественно, оказалось, что Слава наврал: в "Кодори" сегодня танцев не было. Слава заметил, что можно прошвырнуться до городской площадки. Я спросил у него, как площадка может называться городской, если расположена в пусть и разлапистом, но все же селе, и есть ли у него опыт посещения танцев на подобных площадках.

У меня самого он был, и довольно печальный.

Слава выразил сомнение в том, что мой опыт можно применять к законам нового времени.

Я только пожал плечами. Должно быть, уже начинали сказываться последствия солнечного ожога: чувство самосохранения перестало играть свою столь важную для любого организма роль.

Однако, увидев в натуре то, что называлось городской площадкой,

Слава несколько присмирел.

Танцы пока не начались, и оставалось неясным, как они могли бы осуществиться в будущем.

На полукруглой эстраде стояли двое. Первый держал электрогитару.

Показав второму какой-то сложный "квадрат", он передавал инструмент напарнику, и тот пытался повторить.

– Да не так же! – говорил первый, добавив кое-что непечатное.

Динамики разносили его голос далеко по округе. – Вот смотри!

И снова воспроизводил этот чертов "квадрат".

Метрах в двадцати от эстрады стояла скамья. Каменно прижавшись друг к другу, на ней сидели две девушки. Их отчаянный вид показывал, что скамью они

считают своим последним убежищем и никому не удастся оторвать их от нее даже подъемным краном.

Пространство так называемой площадки плавно перетекало в парк. Парк рассекали три рукава большого ручья. Через каждый из них был перекинут легкий металлический мостик с кружевными проволочно-арматурными перильцами.

По аллеям между водными артериями прохаживались какие-то тени.

– Вот козел! – говорил человек, показывавший "квадрат". – Дай сюда!

Мы встали на одном из мостиков и оперлись спинами о перила.

– Похоже, танцев не будет, – вяло сказал я. – Десятый час.

– Да-а-а, – отозвался Слава, разглядывая эстраду. – Не близка им

Терпсихора.

Умничал он совершенно напрасно. Лучше бы посмотрел в другую сторону, чтобы, как и я, увидеть группу из пяти человек, неспешно всходявшую на наш мостик.

Железо ахнуло под ногами, и Слава повернул голову.

– Ну что? – заинтересованно спросил первый. – Наших девок пришли кадрить?

Они уже обступили нас, исключив всякую возможность преждевременного, на их взгляд, расставания. За спиной шумела вода.

– Где ты тут девок-то видишь? – равнодушно спросил я.

Должно быть, я и в самом деле сильно обгорел. Немного лихорадило.

Происходящее меня интересовало, но особой его остроты я не чувствовал.

- Вы откуда? - спросил самый старший - лет тридцати. Здоровущий такой крестьянин с бычьей шеей и мощными руками. И похоже, самый разумный. Лидер.

- Да что там разбираться, - бурчал между тем еще один, длинный. -

Мочить давай.

По тому, как вибрировали под моей спиной перильца, я понял, что

Славу колотит крупной дрожью. И подумал, что на его месте я бы снял очки.

- Из "Кодори", - беззаботно сказал я.

- Я же говорю: надо мочить, - снова буркнул длинный.

- А! Менты, значит, - зловеще уточнил первый.

- Мы-то? - рассеянно переспросил я. - Да как сказать... Ну, в каком-то смысле...

- Блин! - с досадой говорил в микрофон человек, показывавший

"квадрат". - Дай сюда! Дурень!

Честно сказать, я понимал тщетность своих усилий. В таких ситуациях люди с миром не расходятся. Ибо сказано: "Не обнажай в тавернах!"

Пока есть силы терпеть, не обнажай. Но уж если обнажил, деваться некуда: надо мочить.

Было понятно, что старший и разумный не напрасно медлит. Не хотелось ему с нами вязаться. Очень не хотелось. С одной стороны, ничего плохого мы не делали. С другой - из "Кодори". Менты не менты, а все равно в "Кодори" люди просто так не попадают...

Ему нужна была соломинка. За которую он мог бы схватиться, чтобы как-то выкрутиться из этого положения.

И я протянул ему эту соломинку.

- Погодите, мужики, а что за фигня у вас тут в магазине? - спросил я, и с каждым словом мой голос набирал обвинительный пафос. - Это что же такое - в

Абхазии нет вина?! Я, конечно, приехал не для того, чтобы пить водку. Но ведь и водки нету!

Пружина слетела с боевого взвода. Они расслабились и дружно загомонили. Правда, длинный еще что-то ворчал, но его не слушали. Он вообще был довольно тупой, этот длинный.

– А! – обрадованно сказал старший. – А что же ты хочешь?

Перестройка! Борьба с пьянством!

– Разве пить сухое абхазское вино – это пьянство? – усомнился я.

– Что ты с ними, с дураками, сделаешь! – Он с горечью махнул рукой.

– Ведь свои мозги не вставишь! Сколько виноградников порубили!..

– Только в Гагре можно купить, – добавил кто-то и сплюнул. – Но это утром надо ехать...

Я пожал плечами:

– Утром лучше на море...

– А вы откуда? – спросил старший.

– Из Москвы, – ответил я, правильно поняв изменившийся смысл вопроса.

– О! С Москвы!.. С самой Москвы? – уточнил он.

– Ну да, с самой, – кивнул я.

– Слушай, – обрадовался он. – А ты Сашу Козлова знаешь?

Я ненадолго задумался.

– Нет, – с сожалением вздохнул я. – Не знаю.

– А я с ним служил, – сообщил он.

– Ну да, – сказал я. – Понятно. Нет, не встречал...

– В Гагру – это надо часам к восьми, – протянул другой.

– Да ладно, в какую Гагру! – оборвал его старший. – Пошли!

И вопросительно посмотрел на меня – мол, ты идешь, нет?

– Куда? – спросил я.

– Пошли, пошли! – поторопил он. – Увидишь.

Мы со Славой переглянулись.

– Я не пойду, – выговорил Слава.

Это ему не без труда далось.

– Я тебе не пойду! – пригрозил я. – Пошли!

И мы пошли, погружаясь вслед за ними в черные дебри засыпающего поселка.

И все было хорошо. Я почувствовал только один укол неудовольствия: когда кто-то спросил, почему я так странно одеваюсь.

Вернулись часа в три.

Нас проводили до самого дома.

Долго прощались у ворот.

Про "Кодори" никто не вспоминал.

Они повернули назад. Метров через тридцать нестройно затянули невнятную песню.

Слава пошатывался, а на лестнице вообще то и дело спотыкался. Мне приходилось его поддерживать. Это было не так просто. Потому что в одной руке у меня была авоська с чачей – штук шесть поллитровок, а в другой – пятилитровая бутылка с красным вином.

Но белое нес Слава, и я боялся, что он уронит порученную ему трехлитровую банку.

Анатомия свиньи

Далеко не все советские люди имели верное представление об анатомии свиньи. Большинство руководствовалось теми поверхностными умозаключениями, которые можно было сделать, разглядывая прилавки мясных магазинов. Поэтому искренне верило, что организм свиньи состоит из окровавленных костей, кусков желтого сала и щетинистой шкуры с синими печатями. И, надо сказать, это было одно из самых безобидных верований, присущих советским людям.

Я тоже не избежал этих широко распространенных заблуждений.

Однако в один прекрасный день Женя познакомился с рубщиком Сашей, и все волшебным образом переменялось.

Вообще говоря, я и теперь еще плохо понимаю, как это могло случиться. Завязать знакомство с рубщиком было ничуть не проще, чем с самой капризной красавицей из семьи знаменитого флейтиста.

Но все же чудо состоялось, и Жене удалось его развить. Вскоре отношения установились самые доверительные. Женя захаживал, а Саша, вырубая из мертвого животного лакомые куски, жаловался, что его избрали секретарем комсомольской организации торга. Теперь постоянно какие-то посиделки да бумажки, а ведь как хочется настоящей живой работы!..

Так или иначе, каждую среду Женя, вооружившись огромной сумкой и списком заказов от коллег, отправлялся в магазин.

Мне этот магазин был отлично знаком.

У окна – будка кассы. Справа – бакалея. Слева – овощи-фрукты.

В центре – мясной отдел. В витрине – осклизлые куски коровьего вымени. На эмалированном подносе – бурые кости с ошметками сала и заскорузлой шкуры. Невозмутимый продавец в грязном халате.

Первая в очереди покупательница беспомощно смотрит на предлагаемый товар. Ей лет шестьдесят. Она из интеллигентных – в очках, пальтеце, берете, с газовым шарфиком на шее. Следующая за ней облачена в толстую синюю юбку, черную телогрейку, войлочные ботинки. Седая голова повязана бордовым платком. Лицо обветренное. Глаза маленькие и злые. Две авоськи в руках набиты какими-то свертками. Из одного торчит куриная нога.

– Гражданочка, вы берете, нет? – торопит она.

Первая покупательница бросает на вторую надменный взгляд, затем спрашивает продавца:

– А мясо еще будет?

– Рубят...

Первая, вздохнув, уступает очередь второй.

– Что ж одни кости-то? – бормочет та.

– Вы мне подскажите, где мясо без костей бывает, я сам туда побегу,

– со вздохом сообщает продавец.

– Этот и этот, – торопливо тычет она пальцем. – И этот еще. И этот.

– Два кило в руки...

– Миленький, положи! Ведь за сто двадцать килбометров ездим!

Вот такой магазин.

Но если ты знаком с рубщиком!..

В щель между обитыми железом створками полуподвального окна пробивается дневной свет. Здоровенная колода. На ней половина свиной туши. Две целые валяются в углу. Квадратные весы на полу. Небольшой стол накрыт мешковиной. Под мешковиной что-то бугрится. Рулон крафт-бумаги рядом. Рубщик

Саша – в свитере с закатанными рукавами и некогда белом фартуке.

Откидывает мешковину...

И ты показываешь пальцем: вот этот... и вот этот... еще и этот, пожалуй...

Здесь совсем, совсем другая анатомия свиньи!..

Скоро Женя пришел к выводу, что, вместо того чтобы самому таскать тяжеленные сумки из магазинного подвала, следует мало-помалу допустить к Саше коллег, расширив тем самым круг его знакомств, а за собой оставить лишь вопросы общего руководства.

Истинный виртуоз придаточных предложений, он был очень подробен в своих наставлениях.

– Значит, так. Слушай сюда. Тыходишь в магазин и оглядываешься.

Если Коля в зале...

– Этот обрубок, что ли?

Грузчик Коля, коренастый субъект в черном халате, ростом не более одного метра сорока восьми сантиметрами, и впрямь вызывал смутные ассоциации, связанные с топором и плахой.

Женя морщится. Ему неприятно, что Колю называют обрубком.

– Никакой не обрубок, – сухо говорит он. – Он рабочий. Ты слушай сюда. Если Коля в зале, ты спрашиваешь: "Васильич здесь?"

– Ну да, – говорю я. – Ясно. Здесь ли Васильич.

Женя смотрит с сомнением.

– Нет, ты понял? Просто спрашиваешь у него – мол...

– Да понял я, понял!..

– Не перебивай оратора, – наставительно говорит Женя. – Слушай сюда.

Спрашиваешь: "Васильич, мол, здесь?" Если Васильича нет, спускаешься в подвал. Понял?

Морщит лоб и снова смотрит. Похоже, не вполне верит, что уровень слабоумия является приемлемым.

– Понял, – покорно отвечаю я.

– Если же Коля говорит, что Васильич на месте, ты немедленно уходишь. Не спускаешься в подвал к Саше, а покидаешь торговую точку.

Просто выходишь на улицу и идешь себе куда глаза глядят. Понял?

Теперь я некоторое время смотрю на него. Потом сухо киваю:

– Да.

– Смотри же! Это очень важно!.. – волнуется он. – Если Васильич в магазине, в подвал идти нельзя! Видишь ли, я тебе уже говорил, что

Саша неоднократно просил при такого рода визитах проявлять разумную осторожность и попусту не маячить. У него с Васильичем контры, в которых нам с тобой не разобратся, да этого, как ты сам хорошо понимаешь, вовсе и не требуется, ведь...

– Да понял я, понял!

– Не перебивай оратора...

Понятно, что, направляясь на первую встречу после полуторачасового инструктажа, я чувствовал себя несколько взволнованным.

Обрубок Коля стоял у прилавка бакалеи.

Я деревянно прошагал к нему и сказал заветное:

– Васильич здесь?

Хоть это было и несколько затруднительно при его росте, Коля все же смерил меня взглядом. Улыбка у него вообще была как у гоблина.

– Щас, – бросил он, скрываясь в недрах магазина.

Когда Коля, деловито переваливаясь, появился снова, за ним шагал немолодой и явно недовольный человек в белом халате поверх костюма.

На ходу он протирал очки платком и подслеповато щурился.

Остановившись, посадил очки на нос, и из-за их толстых стекол на меня уставились недоуменные глаза.

– Вот, Васильич, – сказал ему Коля, указывая на меня нечистым пальцем. – Вот этот тебя спрашивал.

Анекдот

Костер догорел.

– Спать, что ли, идти... – протянул Семен.

– Ну расскажите анекдот, – ноюще повторил Витя.

Мы помолчали.

– Пойду, – сказал Семен. – Пока.

Встал и пропал в темноте.

– Расскажи, а? Ну чего ты?

Витя обращался ко мне. Больше было не к кому. Все ушли, чтобы наконец-то его не слышать.

– Я больше не знаю, – ответил я. – Сколько можно? Уже все рассказали.

– Ну пожа-а-а-алуйста, – тянул он. – Оди-и-ин...

– Сам-то ты почему не рассказываешь?!

– Я не запоминаю! – воскликнул Витя, прикладывая руку к груди. – Ну честно, не запоминаю!

– Ладно, один, – сдался я. – Последний. И все. Годится?

– Годится! – обрадовался он.

– Тошнит уже от этих анекдотов. – сказал я. – Ну ладно, слушай...

Плывет матрос на плотике. Вдруг налетает огромный лайнер. Плотик вдребезги. Матрос хватается за бревно. На палубу выходит старший помощник. В белом кителе, с золотым крабом.

Витя сдавленно хихикнул и повторил шепотом:

– С крабом!..

– Честь по чести. Матрос кричит: "Шпрехен зи дойч?!" Помощник не понимает. Матрос: "Парле ву франсе?!" Один черт. Матрос перебирает еще двадцать языков. Наконец орет: "Ду ю спик инглиш?!" Старший помощник отвечает: "Йес! Йес!" Матрос ему: "Вот я и говорю, на черта ж вы мой плотик переехали?!"

Витя захохотал.

Костер совсем догорел. Угли мерцали. Над лесом показалось желтое зарево. Выползала луна.

– А еще? – сказал Витя, досмеявшись.

– Все. Надо спать идти.

– Ну еще оди-и-ин, – простонал он. – Один только! А?

– Ты чего? – злобно спросил я. – Сдурел?!

– Ну один Расскажи – и все!

Я посмотрел на него в упор. Было темно, и я почти ничего не увидел – так, белая блямба лица.

Он был просто невыносим. Сначала испортил нам пинг-понг. Играли на вылет, поэтому кто еще хотел, мог играть только с Витей. А с ним играть было невозможно. Два нормально играющих человека производят шариком именно такие звуки: пинг! – на одной стороне стола, понг! – на другой. И опять: пинг! И тут же: понг! Болельщики сидят по сторонам, ожидая своей очереди, лузгают семечки и вертят головами: туда-сюда, туда-сюда. Чем дольше, тем лучше, потому что смысл пинг-понга (в отличие от настольного тенниса) заключается в том, чтобы продлить удовольствие. Пинг-понг. Пенг-панг. Пунг-пинг. Упал.

Чья подача?

А Витя что? А Витя взял ракетку и сделал так: фью! Потом с другой стороны: фью! Потом быстро-быстро попрыгал на одном месте, как резиновый заяц: брым-брым-брым-брым! Потом спросил: "Ну что, погнались?"

Никакого пинг-понга с ним не получалось. Витя резал из любого положения. Причем так, что невесомый мяч летел с гулом, как пушечное ядро, а при ударе о стол чуть не разлетался вдребезги. Витя приговаривал: "Вот так, ёксель-моксель. Вот так, ёксель-моксель!.."

– Ну только один! – снова попросил он. – Один только!

Угли прощально вспыхивали.

– Плывет по морю матрос на плотике, – сказал я.

Разумеется, с моей стороны это была просто шутка. Я думал, он скажет: "Да ладно, ты что! Сбрендил?" Тогда мы загасим угли чайными опивками и пойдем спать.

Витя поторопил:

– Ну?

– Лайнер, – тупо сказал я. – Лайнер на него налетел. Плотик пополам.

Стоило мне замолкнуть, как он нетерпеливо нукал.

– Матрос за бревно схватился. Болтается на волне кое-как...

– Ну?

– На палубу вышел капитан. В белом кителе. В фуражке с крабом.

Смотрит – матрос.

Каждая следующая моя фраза звучала все тверже.

– А матрос кричит снизу: "Парле ву франсе?"

– Ну?

– "Шпрехен зи дойч?" Потом еще по-испански.

Витя напряженно молчал.

– По-итальянски, по-шведски. Не знаю. По-аргентински.

– Ну?

– В конце концов: "Ду ю спик англиш?" Капитан ему в ответ: "Йес! Йес!"

Он заерзал.

– "Я и говорю: на кой ляд же вы мой плотик разбомбили?" – раздраженно закончил я.

– А-а-а! – разочарованно протянул Витя. – Ты мне этот анекдот уже рассказывал!..

Краешек луны показался над лесом, и тут же посветлело.

Армяне

Всякий, кто касался теории машин и механизмов, знает, что этот предмет не сложен, однако требует некоторой систематичности. Каковую трудно проявить на третьем курсе по причине любви и портвейна.

Экзамен принимал некто Гайк Ашотович Атанесянц, доцент.

Я стоял в коридоре, пролистывая напоследок учебник. Он был слишком толст, чтобы надеяться на тройку. Два балла в ведомости грозили большими осложнениями.

– Ну как? – спросил Мамука Анджапаридзе, грузин родом из Махачкалы.

– Может, проскочим? – предположил я.

Он безнадежно махнул рукой и саркастически усмехнулся:

– Ага, проскочим... Ты что, армян не знаешь?

Я пожал плечами. Откуда мне было так уж их знать? Я вырос среди таджиков (см.).

– Это тако-о-о-ой народец, – протянул Мамука. – С ними на одном поле лучше не садись. Неприятные людишки... Да что говорить!..

Я снова пожал плечами. Сказать мне было нечего.

– Вон, на Атанесянца посмотри! – воззвал Мамука к моему здравому смыслу. – Что? Скажешь, приятный человек?

Кривить душой насчет приятности Атанесянца не хотелось. С другой стороны, точно так же был неприятен мне и его коллега – Сергей

Степанович Соловьев. Да и вся их кафедра, по чести сказать, была мне категорически неприятна.

– Кто его знает, – вздохнул я.

- А вредные, вредные! - воскликнул Мамука. - Хлебом не корми - дай какую-нибудь гадость сделать. Матери родной не пожалеют! Брат - и брата давай! Отцу стакана воды не принесут!

- Да ладно, - сказал я. - Прямо уж...

- Вот сейчас увидишь! - пригрозил Мамука. - Помяни потом мое слово!

Я взял билет и сразу понял, что дело швах.

Сев за стол, я осознал, что оно даже хуже, чем мне показалось сначала.

Но первым сдался Мамука.

Он смял свой лист, прошаркал к Атанесянцу и грубо сказал:

- Ладно, пишите два балла! Чего там!

Атанесянец внимательно посмотрел на него сквозь толстые очки:

- Почему два балла, Анджапаридзе? Не знаете?

- Не знаю, - с вызовом ответил Мамука.

- Что мне с вами делать, ребята, - вздохнул Атанесянец.

Раскрыл блокнот. Полистал, держа карандаш указочкой.

- Четырнадцатого приходите. Подготовитесь?

- Четырнадцатого? - переспросил Мамука. - Подготовлюсь, Гайк Ашотович!

- Вот и сдадите с промысловиками. - Атанесянец протянул ему незапятнанную зачетку. - Только не отлынивайте, Анджапаридзе.

Вдохновленный его примером, я тоже поднялся. И моя графа в ведомости осталась чистой. А значит, шансы на стипендию оставались.

Через двадцать минут мы с Мамукой стояли за мокрым столом пивбара.

- Народец, конечно, неяркий, - говорил Мамука. - Тот еще народец...

Но не все так просто! – воскликнул он. – Ведь попадаютсЯ и древние княжеские роды... понимаешь?.. Одно дело – Атанесян. Простой армянский плебей. Что с него взять? Мать продаст, отца зарежет... а-а-а!

Мамука отодвинул пустую кружку и протянул руку к полной.

– Совсем другое – Атанесянц! "Цэ"! Понимаешь? "Цэ"! Древний род!

КнязьЯ! Это же совсем другое дело. Как можно сравнивать? Ежу понятно. "Цэ"! Вот в чем фокус. Это тебе не какая-нибудь деревенщина. Да я как только услышу такую фамилию, сразу скажу – благородный человек. Он почти что и не армянин! Он фактически грузин, если "цэ" на конце! Естественно. Я тебе скажу: там ведь все напутано. Грузинские князьЯ брали в наложницы армянских девушек. Но и наоборот: армянские плебеи брали в жены грузинских князей!

– Княжон, – поправил я.

– Ну да. Так что кровь-то в нем наша, грузинская, – закончил Мамука.

– Еще по паре?

Четырнадцатого мы снова встретились в коридоре. Мой напарник выглядел усталым. Приехал его двоюродный брат, и прошедшие три дня

Мамука был вынужден оказывать ему уважение.

– Восемь ресторанов, – горделиво сказал он, легонько икнув. –

Внуковский не считаю. Там не сидели, нет. Так просто, знаешь, два раза за водкой ездили.

Еще через час мне кое-как удалось воссоздать устройство планетарной передачи. Доцент Атанесянц, грустно посмотрев и соболезнующе покачав головой, все же вписал в зачетку вожделенное "удовл."

Когда вышел мой приятель, на его красивом бледном лице красками горя и отчаяния было написано,

что Мамука не сумел удовлетворить любознательность доцента.

– Ай! – воскликнул он, воздевая руки. – Что я тебе говорил!

И произнес краткую речь, которую я опускаю по причине ее совершенной нецензурности.

Когда мы закурили, я сказал:

– Что делать... Ладно, после практики пересдашь. Теперь взрывное дело бы не завалить.

Взрывное дело читал доцент Дзауров.

– Да уж, – ответил Мамука, страдальчески морщась.
– Еще это чертово взрывное дело...

И, помолчав, с горечью добавил:

– Знаю я этих осетин (см.)!..

Атлантида

Однажды загудела земля, предвещая дрожь и конвульсии; страшной судорогой свело ее косное тело, стало оно колотиться, и раскаленная магма поперла из трещин. Скоро прогнулась казавшаяся столь незыблемой материковая плита, превращаясь в глубокую чашу исторической геосинклинали (см. Каротаж), – и нахлынули в котловину волны времени. Камнекрушающими потоками врывались они на площади, ломая деревья и стены, с душемертвляющим ревом катились по улицам... Похватав что попадая, в ужасе бежали от них несчастные жители града обреченного, – но разве можно ускользнуть от посланцев такой стихии?.. Пенные волны истории догоняли беглецов: то одного за другим, а то и целую толпу; обрушивалась на их смятенные головы украшенная белым буруном лапа вала и, растерзав податливое прошлое, бросала очередное вывернутое душой наизнанку тело корчиться на холодном песке дальних прибрежий...

Когда зыби, с разных сторон накатив и заполнив чашу, схлестнулись друг с другом, порождая бурнокипящие смертоносущие воронки пучин, на прыщущую брызгами поверхность мало-помалу утихающих вод всплыло все, что осталось: кочан подгнившей капусты, полтора кило желтой моркови, пара засаленных тюбетеек, несколько мутных фотографий и конвертов

(совсем бесполезных, поскольку влага жадно слизывала с них расплывающиеся буквы) и прочий вовсе уж несущественный сор. А казан, капкир (см. Зиё), стеклянная поллитровка хлопкового масла, уратюбинский нож из честной "волговской" рессоры и все-все-все остальное навечно осталось на дне...

Короче говоря, города, в котором я появился на свет, самого уж давно нет на белом свете.

Голос наш тих – это плещет волна,
Слышишь, как бьется и шепчет она:
Больше уж вы не увидите солнца -
Солнцем вы все насладились сполна.
Сравнивай нас с голубыми глазами,
Мы не водою покрыты – слезами.
Что там на дне, под волной голубою? -
Господи, мы уж не помним и сами!..
Здесь не взойдет больше память о предках
Маками в поле и птицы на ветках
Не запоют, призывая на волю
Кекликов (см.) в их разукрашенных клетках.
Плавают молча холодные рыбы
Там, где влюбленных мы прятать могли бы.
Где они все? – их мечты и волненья
Стаей форелей забились под глыбы...

Мой друг думал, что пишет жалобу от имени кишлаков, оставшихся под водами Нурекского моря.

Мог ли он знать, что речь в этих стихах (см.) идет о другом, о совсем другом?..

Бог

Ежу понятно, что ни на один из вопросов, касающихся смысла или цели жизни, невозможно ответить в терминах самой жизни – то есть не прибегая к понятиям, выходящим за ее пределы.

Тому, кто хочет, чтобы его жизнь имела цель и смысл более значительные, чем просто поддержание существования и развития вида, не обойтись без помощи Бога.

В Бога можно просто тихо верить. А можно наводить порядок в умах, прибегая хоть к четырем доказательствам бытия Божия, хоть к теореме

Геделя о неполноте.

Мне всегда казалось, что Бог – это та черная неизвестность, что окружает человека. В которую он летит безоглядно, как мотоциклист в тумане, и не знает, в какой момент его размажет о бетонную стену.

По-моему, этого достаточно.

Идея же, будто мы есть любимейшее Его творение, на мой взгляд, не выдерживает никакой критики. Нет, ну в самом деле, зачем Ему, при

Его могуществе, мы могли понадобиться? Во-первых, следить за всей этой земной суматохой необыкновенно хлопотно. Во-вторых, для удовольствия, связанного с любованием плодами собственного труда, Он мог бы создать и что-нибудь более привлекательное.

Я думаю, что если мы и нужны Богу, то лишь как промежуточное звено.

Должно быть, Он все-таки не всемогущ. Ну не может Он создать такой камень, какой Сам не мог бы поднять!

Поэтому Ему пришлось заняться людьми – чтобы достичь какой-то более удаленной цели через наше посредство.

Если Он и смотрит за нами, то исключительно как биолог, следящий за развитием в пробирке нужного ему штамма: когда жизнедеятельность микроба оставит след в виде искомого лекарства, использованная пробирка будет тщательно вымыта и высушена, и Он об этом штамме уже никогда не вспомнит.

А если мне скажут, что я оперирую слишком человеческими понятиями – в том смысле, что человеческие понятия могут нести на себе лишь тень

Божеских, человеку совершенно неясных, – я отвечу, что нечего и толковать о том, что никогда не может быть понято.

Богачи

Людские представления о богатстве очень разнятся.

Однажды я своими ушами слышал, как некий ханыга, шагая от дверей заледенелого пивбара разлива февраля одна тысяча девятьсот восемьдесят четвертого года к столику, за которым его насупленные кореша сосали кислое пиво "Колос" под соленые сушки (см. Грузины), с надеждой воззвал к ним:

– Ну что, богачи! Сгоношим на бутылку!..

В детстве быть богатым – это значило иметь одиннадцать копеек, чтобы по дороге из школы купить желтый зубчатый коржик на прилавке возле

Дома колхозника. Отец утверждал, что их пекут специально для изжоги.

Я был иного мнения, но, так или иначе, денег мне на них никогда не полагалось.

Зелень еще свежая, лаковая. А зато штаны уже короткие, и утренний воздух холодит колени. Говорили, будет дождь... но дождя нет!

Долгое движение с беспрестанными остановками. Мужчины дымят папиросами, женщины благоухают духами... Все разряженные, веселые.

Щелкают фотоаппараты. Те, кого снимают, собираются гурьбой, ненадолго замораживают улыбки, а потом снова смеются и шумят. У детей в руках шары и флажки. Солнце слепит, процессия то движется, то замирает...

Но площадь все ближе! Уже доносится гулкий радиоголос и ответный рев толпы!

– Го-го-го! Го-го-го! – а в ответ:

– Р-р-р-р-ра-а-а-а-а-rrrr-а-а-а-а-rrrr-а-а-а-а!..

Все ближе, ближе! Видны верхушки трибун – вот же они, вот! Красные флаги поднимаются! Транспаранты с

надписями "Миру – Май!" перестают пьяно шататься.

– Ура, товарищи!.. Ура-а-а-а-а-rrrr-а-а-а-а-rrrr-а-а-а-а!..

Сердце стучит чаще. Хочется видеть все, все! Самых маленьких отцы – те, у которых в руках нет ни транспарантов, ни знамен, – сажают на закорки. Но я большой! Я просто встаю на цыпочки и тяну шею. Вот они!

– О-о-ощадь ает-ает!.. щало-о-о-онна... ает-ает-ает!.. ститутона щодалонна онаута!.. онаута металлута тутаталов!..

Р-р-р-ра-а-а-авствуют ветские!.. австуют ветские!.. металлурги!.. урки!.. урки!.. урки!.. Ура-а-а-а-а-rrrr-а-а-а-а-rrrr-а-а-а-а!..

Люди на трибуне улыбаются толстыми лицами и ответно машут мне руками.

– Ура-а-а-а-а-rrrr-а-а-а-а-rrrr-а-а-а-а-а!!! – кричу я вместе со всеми – со всеми!!! вместе!!! – так, что темнеет в глазах. -

Ура-а-а-а-а-rrrr-а-а-а-а-rrrr-а-а-а-а-а!!!

Еще десять, еще двадцать быстрых шагов единым фронтом, единым телом

– и вдруг все кончается, распадается... вянут знамена, падают и исчезают где-то транспаранты... распавшись на составляющие, толпа растекается по широкому проспекту... под ногами россыпь зеленых и красных резинок лопнувших шаров, поломанных флажков, затоптанных бантиков... тянет сладкой вонью шашлычного огня... ноги гудят... над головой лаковая юная зелень чинар и голубизна ясного неба!.. сегодня есть одиннадцать копеек!.. можно отстать от родителей и купить коржик!.. и давиться его пресной рассыпчатой мякотью!.. и запивать лимонадом!..

А потом прямым ходом – к бабушке! За праздничный, за богатый стол: холодец, рыба под маринадом, "ростовская" колбаса!

"Ростовская" – это был второй после коржика символ богатства, неподдельная примета зажиточности. "Надо достать "ростовскую"... ты достала "ростовскую"?.. говорят, была "ростовская"... мне обещали две палки "ростовской"... в горьком дают "ростовскую"!.." Вопрос жизни, вопрос чести и совести – достать "ростовскую" или не достать.

Праздника без "ростовской" – не бывает!

Я ходил на демонстрации когда с отцом, а когда и с мамой. Витюшу

Баранова всегда брал отец.

Потому что мать Витюши была в эти дни занята именно тем, что стояла на трибуне. Она улыбалась и махала нам рукой.

Мать Витюши Баранова была партийным работником и носила строгие черно-белые костюмы. Подчеркнуто прямые линии были призваны уничтожить саму идею изобилия и роскоши непосредственно в зародыше.

Разумеется, этот наивный камуфляж никого не мог ввести в заблуждение. Всем было известно, что Барановы – богачи.

Именно поэтому у Барановых всегда водилась "ростовская". Всегда!

Появление "ростовской" из холодильника в будний, ничем не отмеченный простой черномысый календарный день лично меня (то есть пионера в коротких синих штанах и красном галстуке из-под воротника белой рубашки) необыкновенно приятно ошеломляло... Приятно? Пожалуй, нет: неприятно. Кой, к черту, приятно! Я стеснялся в будни есть

"ростовскую"! К тому же поедание этой проклятой "ростовской" в будни являлось профанацией праздника!

Теперь-то я понимаю, что на взгляд стороннего наблюдателя, не склонного мерить уровень материального положения с помощью коржика или

палки "ростовской", все мы – и Барановы, и Карахановы, и

Климченко, и Меламеды, и Ткачевские, и Курбаковы – пребывали на одном уровне нищеты. Но в ту пору не было сомнений, что Курбаковы все-таки значительно беднее Ткачевских. И это несмотря на то, что наличие или отсутствие известных материальных возможностей определялось вовсе не бедностью или богатством, а справедливостью.

Справедливость же не может быть плохой – в отличие от богатства и бедности, всегда несправедливых.

Мамаша Баранова стояла на трибуне в строгом черно-белом костюме, улыбаясь и маша, и динамики надрывались над ее гладко причесанной головой:

– Свобода равнодаенствоода енствобратодаство енство атство!!!

Она махала нам рукой, на пальцах которой не было ничего, кроме обручального кольца, какое может позволить себе даже самый скромный партийный работник, и только я во всей толпе знал, какая есть у нее шкатулка, – хвастунишка Баранов тайком показывал.

Партия платила ей за то, что всю жизнь и все силы она отдавала борьбе за освобождение человечества, неустанно сражаясь за свободу, равенство и братство, и поэтому было справедливо, что в этой большой черной шкатулке сияющее золото браслетов и колец причудливо мешалось с калейдоскопическим сверканьем мелких бриллиантов.

Ботинки

То, что ноги должны быть в тепле, известно всем. Размышляя над проблемой приобретения зимних ботинок, я прислушивался к мнениям, высказываемым бывалыми ходоками. Большая часть рекомендаций сводилась к тому, что зимние ботинки ни в коем случае не должны быть малы. Более того, они не должны быть даже нисколько тесны – ибо только в больших, просторных ботинках, могущих быть оснащенными толстыми войлочными стельками (а то и не одной), нога чувствует себя именно как веселый скворец в умелой руке птицелова – недостаточно свободно, чтобы улететь, но и не так тесно, чтобы задохнуться.

Оценивая полученную информацию и размышляя, я стал склоняться к тому, чтобы приобрести ботинки больше не на размер, как раньше собирался, а на два. Потому что знал за собой странную склонность обзаводиться именно тесной обувью. Доходило до смешного: однажды я купил румынские желтые туфли с рантом и стальными пряжками, в которых едва уковывал из магазина, а на другой день был вынужден приехать босиком на такси, чтобы обменять на более подходящие.

Точку поставил Палыч (см.). Он сказал:

– Не дури. Зимние ботинки должны быть просторными. Стелечку, шерстяной носочек – да тебе в таких сам черт не брат!.. Ты какой носишь? Сорок третий? Тогда бери сорок седьмой – не ошибешься!

Так я и сделал – и не прогадал.

Меховое нутро этих замечательных образцов обувной промышленности, добротность которых и поныне еще наводит на мысли о вечности

(см.), было дополнено мною толстыми войлочными стельками и шерстяными носками.

Я добился желаемого эффекта: ступня пела, как соловей, и шагал я легко и твердо, чуть только не пританцовывая.

Правда, вскоре мех стал приминаться. Пространство высвобождалось, и на следующий день мне пришлось купить вторые стельки. Нечего и говорить, что я выбрал те, что посолидней.

Днем позже я завел третьи (на всякий случай заказав старухе, что торговала ими у метро, еще пару-другую) и надел дополнительный комплект шерстяных носков. Это почти избавило меня от того чмокания и хлюпанья, что в последнее время возникало при ходьбе. Впрочем, что стоили эти мелкие неудобства по сравнению с испуганным хрустом бессильного снега и божественным ощущением сухого тепла?

Еще через пару дней я обратил внимание на следующее. Всегда прежде я считал шаги парами – левой, правой, ать-два. Теперь характер ходьбы переменился, явно сместившись в сторону многоступенчатости: первая пара шагов происходила внутри ботинок, а лишь вторая – вместе с ними. Может быть, со стороны моя четырехтактная ходьба выглядела несколько странно. Но, друзья, ведь мы – не балерины. Это пусть они прыгают на пуантах. Для нас главное – чтобы ноги не мерзли.

И вообще, решить эту проблему оказалось проще простого. Хватило каких-то двух с половиной пачек ваты. Я плотно набил ею нутро мысков, и все встало на свои места.

Я блаженствовал. Когда жена решила выбросить почти новое байковое одеяло, я порезал его на куски и выстелил днища мягкими лоскутами.

Когда она заявила, что диванные подушки тоже пришли в негодность, я и их пустил в дело.

Теперь Палыч собирается переезжать и намекает, что не потащит на новую квартиру ни старую тахту, ни драные половики. Думаю, все это мне пригодится. Не нужно излишеств, но самое необходимое должно быть под рукой.

В общем, друзья, главное – это чтобы ноги были в тепле.

Буквы

Знакомство с любой письменностью показывает, что она чрезвычайно избыточна. Например, насколько лаконичнее и красивее устная речь немецкого языка по сравнению с тем нагромождением знаков, что передают ее на бумаге.

Русский язык в этом отношении устроен сравнительно экономно. Реформа правописания (декрет СНК от 10 октября 1918 г.), отменившая "еры" и прочие ненужные буквы, была как нельзя более своевременна и уместна.

Она создала предпосылки для возможного ускорения процесса обучения

(приблизительно на 10 процентов), упростила производство литер, выведя из оборота несколько бесполезных литейных форм, и позволила сократить количество бумаги, потребной для напечатания верных в политическом отношении книг.

Однако на пути разумного упрощения русской письменности сделано, конечно же, далеко не все.

Так, например, совсем не обязательно иметь такое количество знаков для передачи гласных звуков. В частности, буква "э" представляется совершенно бесполезной. Ее роль с тем же успехом может исполнить буква "е". Какая, в сущности, разница, как писать – "элемент" или

"еэлемент"? Никакой. И в этом легко убедиться на нескольких простых примерах.

Возьмем слово "пионер". Написание диктует произношение через "е", однако многие (особенно люди старшего поколения) произносят его через "э" обратное – "пионэр". Заметим, что это совершенно не

препятствует пониманию. Еще более показателен пример слова "дельта".

Написание снова предполагает "е", однако всякий сколько-нибудь образованный человек произносит его именно через "э" обратное -

"дэльта".

Рассмотрение этих (и, при необходимости, множества других) примеров с несомненностью доказывает, что буква "э" лишь бесполезно занимает место в алфавите, отвлекая внимание и силы, необходимые для запоминания как ее самой, так и тех немногочисленных случаев, когда она используется на письме.

Говоря общо, человек руководствуется не тем, что написано (см. предыдущие примеры), а собственной привычкой в отношении знакомого ему слова. Стоит лишь преодолеть выкованный веками предрассудочный взгляд на русскую письменность, как становится понятно, что для целей передачи смысла можно пользоваться гораздо более экономным (а значит, и функциональным) алфавитом. Нетрудно заметить, что, по большому счету, принципиального различия нет не только между "е" и

"э", но также и между "е" и "и", "а" и "о" и даже "о" и "у". Какие бы гласные ни использовались на письме (пусть даже случайным образом), все равно читающий в подавляющем количестве случаев верно истолкует читаемое.

Исключений из этого правила так мало, что можно вовсе не брать их в расчет. Например, какая разница между словами "самолет", "самалот",

"сомулёт", "семелет", "сумулут" и "симилит"? Для целей понимания - практически никакой, потому что понимание того или иного слова диктуется контекстом (вспомните слова "ключ" - родник и "ключ" - приспособление для отпираания замка), а в контексте

фразы "Самалат апаздал на два часа" то, какими гласными огласована комбинация согласных "смлт", не имеет ровно никакого значения.

Это ценное заключение позволяет сделать еще один шаг к достижению максимальной простоты и экономности русской письменности.

Если не важно, какую именно гласную мы используем на письме, напрашивается вывод, что использование гласных в целом необязательно, а применение их в настоящее время есть лишь устарелый реликт прошлого, промежуточная ступень на пути к завоеванию простоты в передаче смысла.

Нет нужды подробно освещать (а тем более доказывать ее справедливость – настолько она очевидна) ту точку зрения, что генеральное упразднение гласных в русском языке приведет, во-первых, к значительной экономии бумаги, краски и времени, потребного для заучивания букв, и, во-вторых, к возрождению интереса к русской литературе и письменности, поскольку ничто так не привлекает человека, как внутренняя гармоничность исследуемого явления. Не исключено, что на первом этапе следует, возможно, ствить над согласными буквами (в сущности, единственно и осуществившись в алфавите) какие-либо знаки, показывающие, что за согласным звуком следует некий гласный, – как устроено, например, в персидском, вьетнамском и многих других языках. Данное и последующих типов реформ можно так же, как и знаки гласных, что, несомненно, самым положительным образом скажется на развитии возможной русской азбуки.

Бурмастер

Был зимний вечер, в физиономию дул, как и положено, пронзительный ледяной ветер. В нескольких километрах от главной площади поселка

Кенкияк (см.) множество пятисотсвечовых ламп освещало громады тяжело ухающих парогенераторов, и оттого весь поселок был залит мертвенным отраженным светом, струящимся с хмурого неба.

Главная площадь поселка представляла собой громадный пустырь. Я жил с одной его стороны, а бурмастер Трофимов – с другой.

Надвинув шапку на глаза, опустив голову и закрываясь воротником, я миновал примерно полпути, когда увидел всадника.

Лошадь шла бодрой рысью и быстро приближалась.

В седле, сооруженном из каких-то тряпок, с веревочными подпругами, восседал казах (см.), одетый в рваный овчинный тулуп, также повязанный веревкой в качестве кушака. На башке криво сидела рваная меховая шапка, которую кроме как "треухом" никак было не назвать.

Штаны, судя по их цвету, форме и фактуре, тоже явились откуда-то из восемнадцатого века, из времен пугачевщины.

Я полагал, что он скачет с определенной целью, и замедлил шаг, чтобы мы смогли разминуться.

Каково же было мое изумление, когда оказалось, что его целью был я.

Метрах в трех он, радостно оскалась, отчего его круглая, как сковорода, рожа стала окончательно зверской, поднял лошадь на дыбы.

Я шарахнулся.

– Ты чего?! – крикнул я. – Сдурел?

Он не отвечал. Может быть, он был слишком пьян, чтобы говорить. Так или иначе, он только скалился в ответ, гыкал и поворачивал лошадь то так, то этак, закрывая мне дорогу.

Одна из немногих мыслей, что в тот момент озарила мое смущенное сознание, – это схватить лошадь под уздцы. А дальше что? К тому же в правой руке пьяный наездник держал плетку – длинный жгут, вырезанный из автомобильной покрышки, на короткой деревянной ручке.

Так мы топтались минут пять. Я орал и бранился. Он – перекрывал мне дорогу, скалился, по-прежнему неопределенно гыкал и молчал.

Потом вдруг завизжал, огрел животное камчой, отчего оно снова встало на дыбы, и поскакал прочь. Копыта жестко звенели о мерзлую землю.

Я перевел дух и двинулся своей дорогой.

Через десять минут я сидел за столом в теплой комнате, пил чай со смородиновым вареньем и рассказывал бурмастеру Трофимову об этом странном происшествии.

– Ну и чего ты растерялся? – спросил Трофимов, усмехнувшись.

Я пожал плечами:

– А что мне было делать?

– Ты вот говоришь – под уздцы, – вздохнул он. – Это неправильно. Он тебя точно огрел бы пару раз по роже. Еще, чего доброго, и глаз бы вышиб. И сливай воду. Нет, не так.

– А как? – спросил я.

Он снова вздохнул, разминая железные кулаки.

– Я обычно как делаю?.. Хватаешь ее за морду обеими руками... – Он показал это страшное при его грабках объятие. – И крутишь! И валится она как миленькая! – Трофимов махнул рукой, запястье которой по ширине не отличалось от ладони. – А когда свалил,

тут и делать нечего. По башке ему пару раз. И пенделя потом, чтобы бежал быстрее!..

Я посмотрел на собственное запястье и невольно вздохнул.

– А как еще? – строго спросил Трофимов. – С моими помбурами (см.) только так.

Он поднял чашку, несколько раз отхлебнул, а потом расстроено закончил:

– У меня ведь все сидельцы.

Бутылит

Три водопроводных крана над одной раковиной можно увидеть только в городе Шевченко (см. Казахи). Из одного льется холодная соленая вода. Пить ее нельзя. Из другого – горячая соленая вода. Пить ее тоже нельзя. И лишь из третьего крана течет пресная. Точнее – опресненная. На атомной, между прочим, станции. Излишне говорить, что, как правило, более или менее действует лишь какой-нибудь один кран. Обычно это второй – с горько-соленой горячей влагой.

Город стоит на берегу Каспийского моря, на высоком обрыве. Обрыв – популярное место отдыха горожан и гостей города. И впрямь – даже в июле, когда марсианские пейзажи полуострова Мангышлак плавятся и текут в безмерно жарком воздухе пустыни, здесь под вечер над палящей бирюзой Каспия все-таки что-то шевелится: какое-то робкое дуновение... вот еще... потянуло, а?.. точно потянуло!.. и вот уже дует, дует!..

Мы сидели на этом обрыве, свесив ноги, и пили кислое пиво из теплых бутылок. Мы были не одни – сколь хватало глаз, точно так же сидели, свесив ноги, люди. И тоже что-то пили.

Метрах в тридцати под нами катило свои волны древнее Хазарское море.

Круто просоленные волны были тяжелы. У берега они сердито бычились, зло гнули вспененные шеи и жестко обрушивались на изумрудный пляж...

О, этот пляж! Он был фантастически красив на закате, этот пляж! Он звал к себе – правда, хотелось прыгнуть вниз! – и только мысль о том, что обратно уж вряд ли выберешься, кое-как меня останавливала.

– Стас, – сказал я, томясь невысказанностью. – Красиво-то как!..

А почему у вас тут галька зеленая?

Стас пожал плечами. Потом допил пиво и швырнул пустую бутылку.

Она беззвучно лопнула, ударившись с разлету о берег, и тут же исчезла в шумной пене накатившей волны.

- Минералогии (см. Роговая обманка) не знаешь, - ответил Стас. -

Это же бутылит!.. Ну что, еще по одной?

Вечность

Зашел приятель. Посидели, поболтали.

– Все пишешь? – спрашивает.

Я пожал плечами: все пишу, мол (см. Писатели). Как видишь.

Он говорит:

– А зачем?

Я опять плечами пожимаю:

– В каком это смысле – зачем?

– Ну в таком, – настаивает он. – Зачем? Или – для чего?

– Как тебе сказать...

И правда, не знаю, что сказать.

Потом взял и брякнул – вроде как пошутил:

– Для вечности!

А он, собака такая, оживился, да еще как глумливо:

– Это что же это за издание такое – "Вечность"? В первый раз слышу!

"Науку и жизнь" знаю, "Столицу" знаю... "Согласие" вот еще есть такой журнал, "Новый мир", "Наш современник"... А "Вечность"?

Занятно! А какие там, позволь спросить, гонорарные ставки?

Вещи

Несомненно, когда я ухожу из дома, вещи продолжают жить своей жизнью. Ковер лежит на полу ничком, потерянно вытянувшись. Он не любит тишины, не выносит уединения. Ему, наоборот, нравится, когда я расхаживаю по нему со стаканом в руке – тогда он неслышно побряхтывает, блаженно расправляется: точь-в-точь как начальник в бане под пятками злого массажиста... Стоит книжный шкаф, строгий и собранный, будто часовой у ракетного склада. Этому, напротив, лафа.

При мне-то он не смеет и бровью повести – с утра до ночи топырит стеклянную грудь, деревянно держит прямые углы – хоть транспортер прикладывай. А теперь переводит дух, пошевеливая занемелыми членами, с едва слышным поскрипыванием переступает с ноги на ногу.

Но, конечно, веселее других ведут себя книги. Почуввав свободу, они начинают перешептываться. Их разноголосый бубнеж напоминает ропот статистов. Каждый том упрямо утверждает свое, каждая книжица талдычит, что знает. "Гипостаз, гипостиль, гипосульфит", – настаивает одиннадцатый том энциклопедии (см.). "Паханг, пахари, Пахельбель,

Пахер!.." – пыхтит тридцать второй. Сочно причмокивая, кулинарная книга бормочет что-то о борщах и запеканках.

А кто громче всех? Ну конечно: копеечная книжулька, которую побрезгуешь пустить даже на подклейку переплета, дрянная брошюрешка, достойная лишь по безалаберности служить подставкой чайникам и сальным сковородкам, – так вот именно она, заглушая

соседей, во весь свой дребезжащий голос трактует вопросы изготовления самогона в домашних условиях!..

Зачем посещать собрания людей, если можно обратиться к собранию книг? Эти тоже не слушают других – дай бог свое успеть сказать.

Вино

Отец мой был человеком весьма скрупулезным. Энциклопедия (см.) у него всегда была под рукой, а если ее не хватало, он обкладывался специальными изданиями.

Когда виноградник в саду вошел в силу, отец наладил процесс виноделия и поставил его на самые серьезные рельсы.

Стоит ли объяснять, что такое был наш сад? В России подобные заведения называют дачами. В Душанбе это слово не прижилось. Те шесть соток, что, выйдя на пенсию, получил мой дед Иван

Константинович Воропаев (см. Родословная), именовались именно садом.

Оно и впрямь было как-то уместней. На даче люди отдыхают (так по крайней мере принято считать). Отдыхать в нашем саду никому и в голову не приходило. Лютое среднеазиатское солнце в сочетании с мутной водой из арыка сводило растительность с ума, и она перла как бешеная. Ну буквально: отвернешься на минуту, глядь! – уже что-то всюду выросло. Поскольку же бесполезная растительность вела себя точно так же, как и полезная, борьба с ней превращалась в изнурительную битву. Участки под сады располагались на длинной узкой полосе неудобий между дамбой Гиссарского канала и хлопковыми полями, и первые годы, пока не поднялись деревья, не вырос дощатый домик по типу домовладения дедушки Порей, в тени которого худо-бедно можно было перевести дух, садовая деятельность представляла собой чистую каторгу. С годами под неусыпным дедовым призором и его же кетменем здешний безродный суглинок превратился в благородную культурную почву. Как ни

странно, даже сорняки, похоже, стали чувствовать, что им, со свиным-то рылом, сюда, в калашный ряд, как-то несподручно.

Но дело не в этом.

Кто знает, тот знает: виноделие – дело тонкое. Смешно мне слушать разговоры о том, как кто-то там умеет делать прекрасное, ну просто восхитительное, прямо-таки марочное вино из черной смородины, в которую, главное дело, не жалеть сахара, для сохранности закрывать резиновой перчаткой, а крепить самогоном, который, чтоб не сильно вонял, предварительно чистить простоквашей, конским навозом или еще какой-нибудь дрянью.

Все это чистой воды профанация и издевательство над самим понятием виноделия. Правда, русские люди не виноваты в этом. Они бы и рады делать все иначе. Да куда деваться: Россия – страна бедная. Однажды я привез в деревню несколько спелых плодов хурмы – в качестве гостинца бабе Ане, у которой тогда жил. Она долго рассматривала их, недоверчиво качая головой. По моему настоянию стала пробовать.

Оказалось сладко, понравилось. Косточки собрала, чтобы посадить в горшок – авось что и вырастет. А потом грустно сказала:

– Ишь какие дива-то бывают!.. А у нас что? – картошка да рябина...

В папиных руках дело обросло множеством предметов и понятий. Две здоровущие дубовые бочки. Пресс. Двадцатилитровые бутылки. Водяные затворы – привязанные к горлышкам бутылей аптечные пузырьки с водой: в воду пробулькивает из бутылки углекислый газ, а воздух не проникает. Элементарная сера. Резиновые шланги. Bentonit – желто-серая пыль в бумажных мешках. Разнообразные словечки, за каждым из которых брезжит целая вселенная: техническая

зрелость, гребни кистей, мезга, оклейка, букет...
Переливка, сусло, купаж...

Дубильные вещества. Доливка. Бурное брожение (вот уж точно, бурное: бочка становится горячей и дня три угрожающе гудит, понемногу затихая). Выдержка...

Молодое вино – еще беспокойное, дображивающее – полагалось выносить греться на осеннем солнышке и переливать, снимая с бесконечно падающего на дно бутылки осадка. В выходные этим с удовольствием занимался отец. Среди недели – дед. Поскольку врачи запретили ему поднимать тяжести, в среду или четверг мы приезжали в сад вдвоем.

Пятнадцатый автобус всегда набивался битком. Его пассажирами были старухи в белых покрывалах на головах. Белобородые старцы – эти в халатах, из широких рукавов которых высывались коричневые руки, державшие кривые посохи, в мягких сапогах с калошами. Подростки с простыми клеенчатыми портфелями, озабоченные мужчины в пиджаках и тюбетейках, женщины, одетые в более или менее национальном (см.

Национальность) стиле. Короче говоря, это был преимущественно таджикский автобус, и шел он на дальнюю таджикскую окраину русского города Душанбе (см. Таджики).

Покинув его на остановке с названием "Вторчермет", мы шагали по залитой гудроном дороге мимо длинного бетонного забора. За ним торчал мостовой кран и виднелись огромные груды искалеченного металла. Кран выл и ездил, чтобы уцепить магнитом охапку ржавых железок и с оглушительным грохотом бросить ее затем на железнодорожную платформу.

Свернув направо, мы шли по берегу ручья, а потом через небольшое поле. Тропа прибегала к асфальтированной дороге через кишлак.

У ворот сидели собаки и дети. Собаки неодобрительно следили за нами.

Дети чему-то радовались и громко кричали:

– Издрасти! Издрасти!..

Дед невозмутимо насвистывал вечную свою песенку – фью-фью-фью, фью-фью-фью, – а я кивал им в ответ и тоже произносил что-то вроде

"здравствуйте".

Когда дорога взбегала на дамбу, мы сворачивали влево и топали по ней еще километра полтора.

Справа тускло блестела быстрая вода канала, слева курчавились деревья садовых участков. За ними зеленело и серебрилось море огромного, чуть ли не до горизонта, хлопкового поля. Невдалеке воздымался остров – большой высокий бугор с отвесными глиняными берегами. Там росли деревья и трава, а весной было несметное количество черепах. Ряды хлопчатника набегали на него и разбивались, как волны...

Сад опадал.

Светило теплое солнце, сухая листва курчавилась и шуршала. Белые хризантемы добавляли горчинки в пряный воздух.

Одну за другой я выносил из хибары прохладные бутылки,ставлял на солнце. Вино начинало мягко светиться.

Дед зажимал на конце полуметровой алюминиевой проволоки желтый кусочек серы, поджигал в коптящем пламени спичек. Сера невидимо горела, источая удушающий дым – не дай бог вдохнуть, полчаса будешь кашлять. Аккуратно всовывал серу в горлышко чисто вымытой и просушенной бутылки. Скоро она наполнялась сизым туманом, в котором умирало все живое – даже вредоносные бактерии.

Я ставил подготовленную пустую бутылку на землю, а полную, нагретую солнцем, – на табуретку рядом.

Опускал тонкий шланг, посасывал – и по закону сообщающихся сосудов начинала дрынить струйка вина.

Наполняя новую бутылку, вино медленно вытесняло слейщийся сернй дым, и он невоэвратно рассеивался в горьковатом воздухе.

Когда в верхней бутылке оставалось меньше трети, нужно было особенно внимательно следить за процессом, чтобы не позволить шлангу всосать, упаси бог, даже малую толику тонкого осадка, лежащего на дне серым покрывальцем. Хоп! – я выдергивал шланг и отставлял полную бутылку свежеперелитого вина в сторону.

Вкус вина мне нравился. Оно было замечательно вкусным, это вино. Я еще не знал, что такое опьянение. Пить вино мне нравилось из-за его вкуса. Оно было вкусным, ароматным, оно холодило нёбо, оставляло во рту ощущение свежести.

Приступая к переливу, я всегда делал пару-другую контрабандных глотков. Ну невозможно было удержаться, такое вкусное оно было, это вино!.. Оно было вкусным и в октябре, совсем молодое, свежее, живое.

Оно было вкусным зимой, когда в нем проступали неслышимые прежде ноты. И весной оно было вкусным, и следующей осенью... К моему выпускному вечеру дед выкопал бутылку муската, два года пролежавшую в земле. Слова бессильны! – не буду их тратить...

Отец в ту пору много работал, и когда дед умер, сад стал приходить в упадок. В конце концов его продали. Зимой первого курса, приехав домой на каникулы, я сделал последние глотки...

...Наверное, этот рассказ следовало бы разместить в "Алфавите" под буквой "П" – "Предатель". Потому что как ни крути, как ни оправдывайся, а ведь я предал вкус нашего вина. Внутренне предал, забыл, отказался.

Да и как было не отказаться? В Москве продавались самые разные сухие вина – отечественные и импортные, белые и красные. Все они блистали строгими или цветистыми этикетками, все гордо несли на горлышках своих бутылок пластиковые или даже свинцовые капсулы, под которыми прятались настоящие пробки из коры пробкового дерева. (Некоторые, впрочем, самые простые и приبلудные, – чернь в мире виноделия – укупоривались полиэтиленовыми нахлобушками.) И все они даже отдаленно не были похожи на то вино, вкус которого я знал с детства.

Но никуда не деться: бутылки, пробки, капсулы, этикетки неопровержимо доказывали, что именно это было настоящее вино!..

Долго ли, коротко, но терпкий и, как правило, кислый вкус, изжогу после двух стаканов, тяжелую пробочную отрыжку после трех и головную боль наутро после бутылки я стал считать неотъемлемыми свойствами настоящего сухого вина. Что же касается нашего, то... да что там!

Мало ли какие бывают в жизни заблуждения!.. Нет, ну действительно, что там дед с отцом могли такого понасосоздавать – с прессом этим своим недоделанным, с дырявыми бочками, с дурацкими синими и желтыми бутылками... со шлангами нелепыми своими, с вонючей этой серой... с рваными кульками глиняной трухи и прочей чепухой!.. Люди вон заводы целые строят, чтобы настоящее вино делать, а тут!.. Ну смешно же, смешно!

Прошло чуть ли не двадцать лет.

Я приехал в Париж – это была командировка. Советская эпоха практически кончилась, какая-либо иная еще не началась, но само наше появление здесь, на станции метро "Трокадеро", было уже довольно многообещающим.

Днем мы торчали на выставке, рассказывая интересующимся о преимуществах нашего

программного обеспечения, вечером и ночью бегали по городу в тщетных попытках объять необъятное.

Вино тоже пили. Вино как вино, ничего особенного. Правда, мы покупали дешевое, в супермаркете.

Как-то раз я замедлил шаг у витрины винного магазина, мельком схватив буквы на одной из этикеток. Вспомнилось что-то детское, приятное...

– О! – сказал я. – Серега (см. Чемодан), винцо-то из "Трех мушкетеров"! Помнишь?

Зашли в магазин.

– Да-а-а, – протянул Серега, глядя на ценник. – Не бедные люди были эти мушкетеры... Может, ну его?

Но я все-таки купил бутылку.

Впоследствии мне не раз доводилось пробовать вина этой французской провинции. Разных марок, лет и винных домов. Все они чуточку отличались от того, что было случайно увидено мной на одной из бесчисленных улиц Парижа.

Но это!..

Мы сидели за столом, и мой бокал почти не был тронут.

Я сделал лишь глоток – но и его мне хватило с лихвой, чтобы время швырнуло меня себе за спину, как ловкач баскетболист швыряет мяч.

Это было то самое вино – то самое, дедовское, папино.

То самое вино.

И я точно знал, как его делали!..

Волкодав

Вызолоченная ранним солнцем река, покрытые серебряной пеной валуны, непролазно заросший берег... Дальше – желтая трава на ближнем склоне, еще дальше – шершавый язык серой осыпи, неровный обрез скалистого водораздела и синее небо.

Утренний ветер подхватывает у лагеря дым и сизым платком тянет вверх по ущелью.

Отец плотно сидит на камне. На голове у него выгорелый берет с каким-то значочком. На коленях – чемоданчик со снастями. Во рту сигарета. Дым щекочет глаза. Он морщится и то так, то сяк поворачивает голову. Большой приبلудный волкодав дремлет возле него, положив тяжелую медвежью голову на лапы.

Догорает утренний костерок, перевязаны крючки, припас уложен в коробочки, коробочки – в мешочек, мешочек – в наплечную сумку. Туда же – пакет с хлебом, двумя огурцами и куском колбасы. Уперевшись руками в колени, встает с камня – в широкой мешковатой куртке, в зеленых рабочих штанах, заправленных в сапоги. Кряхтя, лезет головой в узкую лямку, приспособив суму. Потом выплевывает погасший окурок, шарит в кармане – на месте ли нитроглицерин. Берет удилище.

Волкодав открывает глаза, лениво трясет башкой, чешется, норовя залезть широкой лапой в обрубленное ухо. Встряхивается, садится. Он белый, на худых боках черные пятна. Он сидит и пристально глядит в удаляющуюся спину. Когда человек ныряет в заросли, волкодав неспешно трусит следом.

Ледяная вода ревет, и сверкает, и свивается петлями, и бьется о камни. Они идут вверх по реке – от ямы к яме, от переката к перекасту. Форель стоит на месте, трепеща плавниками в мощном потоке.

Песчинки наотмашь бьют ее по неморгающим глазам. Она смотрит в сторону света. Она видит их – видит укороченными, искаженными.

Человек взмахивает удилищем, леска с тихим свистом рассекает воздух, и грузило увлекает ко дну крючок с полупрозрачным лакомством – рачком-букашом, живущим в реке под камнями.

Но она видела их – и ее уже нет.

– Не шаволит, – констатирует отец, когда и третий заброс оказывается бесполезным. Он наматывает леску на палец, натягивает ее, чтобы она прижалась к удилищу.

Так они идут от ямы к яме над гудящей водой, продираясь сквозь кусты или тяжело восходя по жаркому сыпучему склону почти на самый водораздел, чтобы миновать непролазные заросли джангала... И порой удача улыбается им – серебряная молния выстреливает из воды, и пальцы дрожат, снимая ее с крючка.

Уже совсем прохладно и почти темно, когда они подходят к палаткам.

Их встречают возмущенные и встревоженные голоса.

– Ну ладно, ладно, не шумите, – говорит отец, отдуваясь. – И так никаких сил уже нет. Дайте рассупониться...

Кто-то помогает ему – тянет сумку с плеча.

– Тише, тише, – бурчит он, – руку оторвешь... Дай присяду, ноги не держат... Фу... Ну ладно, ладно, увлекся маленько... Надо бы по граммулечке, а?.. Еще спасибо зверюге этой. – Он кивает на пса. –

Солнышко село – так дело пошло!.. Голый крючок хватает! Я дальше, дальше!.. Вот жадность-то человеческая!.. А этот уже скулит – мол, домой пора, заворачивай!.. Я говорю – сейчас, сейчас! Вон, говорю, до того саёчка только – и обратно... Ну, а потом ему

надоело, он вдруг меня за штанину зубищами – цап! И не пускает! Уперся – и стоит! И не пустил! Попробуй его сдвинь!.. – Он огорченно машет рукой. – Назад пошли... В общем, всю рыбалку испортил! Так есть по граммулечке-то? – с надеждой улыбаясь, спрашивает он.

А преисполненный чувства собственного достоинства приبلудный чабанский пес смотрит на огонь желтыми глазами.

Вязанка дров

Листая от нечего делать задачник, я наткнулся на следующую задачу.

"У подъезда лежала вязанка дров. Ее подняли на третий этаж и сожгли.

Куда делась потенциальная энергия вязанки дров?"

Я фыркнул и пошлюнил палец, готовясь перелистнуть. Тоже мне задача.

Ну вязанка дров. Ну пришел там кто-то. Пнул ногой эту вязанку... хорошо, если маленькая, а здоровую-то каково переть на третий этаж!.. Но делать нечего, надо тащить. Приложили к ней работу.

Подняли. Брякнули там. Обрела вязанка дров потенциальную энергию.

Что дальше? Если бы ее оттуда сбросили, вязанка дров стала бы падать. С ускорением. Набрала бы скорость. Ее потенциальная энергия перешла бы в кинетическую. И в конце концов совершила некоторую работу. Ну, например, шмякнулась кому-нибудь на голову. Ты, допустим, вышел за хлебом, а тебе – бац! – вязанкой дров по башке.

Шея набок, голова вдребезги. Ничего хорошего, конечно. Но все-таки работа? Работа. Если не по голове, тогда просто почву бы поколебала.

Помяла траву. С этим ясно...

Но вязанку дров не бросили из окна, а сожгли. У них была печь

(см.). Газетку под низ, как полагается... спичечку... красота: сиди смотри, как огонь пляшет.

И все – вязанка дров сгорела. Вязанки дров нет. Но энергия, согласно закону Ломоносова – Лавуазье, не пропадает, а только переходит в другой вид. Вот потенциальная энергия вязанки и перешла в другой вид

– стала в процессе сгорания тепловой. Обратилась в тепло, иными словами.

Посвистывая, я пролистал еще пару разделов, наискось прочитывая условия. Физику я знал неплохо, и все, что попадалось на глаза, тут же рассыпалось на понятные схемы. Это на ускорение... это снова на энергетические переходы... это кинематика... Ничего примечательного не находилось. Я захлопнул книгу – и вдруг подумал: если вязанку дров поднять еще выше – скажем, на пятый этаж, – ее потенциальная энергия увеличится. Это что же – и тепла при сгорании выделится больше? А если на десятый? А на двадцать пятый? А взгромоздить эту чертову вязанку на Эверест – так хватит всю планету обогреть?

Что за ерунда!

Стоп. Начнем сначала.

Была вязанка дров. Лежала себе у подъезда. Ее подняли – она обрела потенциальную энергию. Это ясно... А теперь вязанки дров нет. Ее сожгли, и вязанка дров исчезла... Но куда делась энергия? Согласно принципу Ломоносова – Лавуазье, она не пропала. Не может пропасть.

Может только перейти в другой вид. Вот она и перешла. Но не в тепло... нет, нет. Не может она в тепло. Это бред – в тепло. Если бы она могла в тепло, все бы только и поднимали дрова как можно выше!..

Может быть, в свет?.. Тоже чушь: выше – ярче. Ну ерунда же, ерунда!.. И вообще, таскать вязанку дров – это, несомненно, физика.

А вот жечь ее – это уже не физика никакая, потому что горение – процесс химический!.. То есть химия – она тоже, конечно, в какой-то степени физика: орбиты электронов... то-сё... массы атомов... но не до такой же степени, чтоб поднять вязанку дров физически, а она возьми потом – и химически дай больше тепла!..

Я прямо вспотел от этой вязанки дров – как будто и впрямь таскал на себе туда-сюда.

И вдруг сообразил.

Бог ты мой, что ж это мне втемяшилось, что вязанки дров нет! А зола?

А продукты горения? Ведь, согласно тому же закону, материя не исчезает и не появляется вновь! Есть вязанка дров! Только она несколько развеялась... вылетела в трубу!.. Но она есть! И потенциальная энергия – при ней! При тех крупцах... при атомах, при молекулах! При золе, при углях!..

Вечером подсунул задачку Витюше Баранову по прозвищу Баран. Мы с ним сидели за одной партой, и физику он тоже знал неплохо.

Витюша фыркнул и отодвинул задачник:

– Куда, куда... Что тут неясного? В тепло, конечно!

Я восторженно расхохотался. Однако минут через двадцать стало не до смеха – Баран ни в какую не желал признавать моей правоты.

Наоравшись до хрипа и обоюдно наобзывавшись словами, самыми нежными из которых были "пень" и "тупица", мы расстались.

Перед сном я ворочался, злобно представляя, как завтра поставлю

Барана пред ясны очи физички Светланы Глебовны. Вот уж кислую рожу он состроит, услышав приговор! Я над ним всласть поиздеваюсь, а потом – что уж! не до смерти же казнить! – великодушно прощу...

Почти так оно и вышло.

Светлана Глебовна подняла тонкие брови и окинула нас, птенцов, своим ласковым взглядом.

– Ну что ж вы, мальчики! – сказала она, улыбаясь и качая головой. –

А еще отличники! Куда, куда... Что ж тут непонятного? Разумеется, в тепло!..

Гений жизни

Свойство гениальности в отношении к жизни присуще далеко не каждому, но в житейской практике встречается довольно часто. Наглядней всего оно проявляется во время туристического похода. Всегда находится один, кто, как ни старался, не смог добыть подходящего по размеру рюкзака. Разводя руками, он с доверчивым сожалением разъясняет свою беду: в его рюкзак помещается лишь спальный мешок и кое-какая одежонка, а вот что касается коллективного провианта, то ни крошки не влазит. Продовольствие несут те, у кого рюкзаки побольше. Обувь у него тоже чаще всего не в порядке. Это не препятствует ходьбе в целом, но на стоянке, когда нужно спешно топтать за водой и валежником, он занят исследованием своих мозолей, причем сопровождает его стонами, способными довести до слез даже милиционера. Во время возни с падающей палаткой и негорящим костром гений жизни сидит на бугре и задает один и тот же вопрос: зачем все это нужно? На его взгляд, палатка ни к чему, потому что дождя наверняка не будет, поужинать можно хлебом и сахаром, а жажду как нельзя лучше утоляет сырая вода. Кроме того, он часто восклицает:

"Да что за бред!.." - и громогласно удивляется неразумности окружающих, которые продолжают бессмысленно суесться у огня. Как правило, к моменту раздачи макарон с тушенкой он все же находит резоны приблизиться к очагу, а когда все поели и кто-то моет в болоте посуду, браня во тьме треклятых комаров, уже не найти большего весельчака и балагура.

На него стараются не обращать внимания, поскольку все равно в случае спора он приведет аргументы, которые никоим образом не могут быть

опровергнуты. Так, например, я собственными ушами слышал, как один гений жизни спрашивал, не все ли равно дедушке, когда он к нему приедет – сегодня или завтра? В самом вопросе звучала уверенность в том, что дедушке безразлично. Действительно, его правоту невозможно было подвергнуть сколько-нибудь рациональному сомнению, поскольку речь шла о давно намеченной семейной поездке на кладбище: участники спора были материалистами, а исходя из материалистических представлений следовало признать, что дедушке и впрямь по барабану, когда к нему приедут и приедут ли вообще.

Ничто не способно заставить гения жизни пошевелить хотя бы пальцем, если это всерьез не угрожает его собственному благополучию. Он органически не способен ускорить шаг, даже когда речь идет о возможных материальных потерях; тем более это верно в случае, когда таковые не грозят. Если по странной прихоти он возьмется отвезти вас с тяжелым чемоданом на вокзал, вы непременно опоздаете. Глядя на башенные часы, он воскликнет: "Да что за бред! Какие-то две минуты!.." – и будет долго и красочно возмущаться мелочностью железнодорожного начальства. Если вы, отстояв затем целый день за новым билетом, поверите его клятвам, что уж теперь-то он будет точен, как сторублевая бумажка, а в день отъезда за сорок минут до отправления не броситесь с чемоданом к метро, вам и на этот раз не видать поезда как своих ушей. Если вы, согнувшись в три погибели и выпучив от натуги глаза, понесете на спине сложенную байдарку, он будет грациозно семенить рядом, положив руку на чехол. Если спустит колесо, вы будете крутить домкрат на лютом морозе, а он – слушать музыку, доброжелательно поглядывая из теплого салона; когда же все снова придет в порядок и вы поинтересуетесь, почему он так и не вышел из машины,

гений жизни удивленно спросит в ответ: какой же смысл мерзнуть двоим, если дел только на одного? Даже когда вы соберетесь на Марс и попросите его купить три кило картошки, то на протяжении всего полета вас будут сопровождать самые разные приборы, устройства, приспособления, тубы, батареи, контейнеры, отбросы, продукты обмена, телефонограммы, скафандры, невесомость, метеориты,

Белка, Стрелка и результаты исследований – то есть все, что душеньке угодно. Единственное, чего не найдется в недрах бороздящего просторы космоса корабля, – это хоть бы самой завалящей картофелинки.

Что касается работы, то гению жизни ее никогда не достается: он либо появляется, когда уже все сделано, и с благодушной улыбкой выслушивает оскорбления в свой адрес (изредка, впрочем, восклицая привычное: "Да что за бред!.."), либо его не допускают к ней и на пушечный выстрел, потому что он непременно испортит все дело.

Впрочем, подобные мелочи не могут его огорчить – работа ему не нужна. Он с младенчества привык к тому, что жизненные блага падают ему на голову, и в каком-то смысле никогда не выбирается из этого невинного возраста. С матерью он живет лет до сорока – то есть пока она в состоянии хоть как-то его обслуживать; когда эта самоотверженная женщина стареет, он наконец перебирается к жене, чтобы предоставить ей возможность делать то, чем раньше была занята родимая.

Ему часто везет по мелочам – он находит кошельки на улице, заявляется в магазин как раз к началу распродажи, в кармане купленного им в комиссионке пиджака обнаруживается крупная купюра...

Везением он распоряжается как нельзя более разумно. Вообще, он практичен, очень неглуп и хорошо воспитан. Беседовать с ним – одно удовольствие, тем

более трудно объяснить неожиданные приливы острого желания съездить ему по морде. По-видимому, гений жизни неким специфическим образом искривляет прилегающее пространство.

Существует точка зрения, в соответствии с которой гений жизни в конце концов "получает по заслугам". Не стоит ломать копья вокруг сего нелепого мнения – оно является порождением не опыта, а свойственного людям стихийного стремления к абстрактной справедливости. Истинный гений жизни проживает свою жизнь играючи – от самого начала до самого конца. Он легко минует то, что для другого является непреодолимым препятствием, не упускает удачу, всегда добродушен и благожелателен, а любые попытки причинить ему вред, неудобство или хотя бы беспокойство заранее обречены на провал и, как правило, оборачиваются против того, кто их замышляет, – в полном соответствии с поговоркой: "Не рой другому яму, сам в нее попадешь".

Тем же, кто полагает, что человек должен, пусть изредка, быть способным проявить любовь, преданность, самоотверженность или хотя бы стыд, и склонным подвергнуть гневному осуждению того, кто этого сделать не в состоянии, следует заметить: благодать сама знает, когда и кому беспричинно падать на голову. И кто сказал, что ее носитель должен приносить окружающим одно удовольствие?

Так что подумайте сами. Может быть, на них следует молиться?

Гостиница

Гена Сурцуков так и говорил: "У советского человека не должно быть тайн!"

И правда, в прежние времена тайн практически не было, люди жили как братья. И даже ближе. Во всяком случае, однажды я, выйдя в коридор гостиницы в Охе на Сахалине (туалет там, как и во многих других местах, был один на этаже), встретил относительно молодую и совершенно голую особу с голубым бюстгальтером в руке. При моем приближении она накинула его на голову так, что чашки стали торчать, как довольно большие уши, и, подергивая плечиком, лукаво заговорила:

– А я – мышка! А я – мышка!..

В гостиницах никто никого не стеснялся. Да и места, чтобы стеснение свое продемонстрировать, как-то особенно не предоставлялось.

Одноместных номеров не существовало. В обыкновенных гостиницах, я хочу сказать. Правда, были еще обкомовские, горкомовские и прочие таковские, но меня в них не селили.

Я жил в обыкновенных. И с кем только не жил!

Верхом комфорта являлся двухместный номер. (Для западного читателя: в двухместном номере стояли две кровати. В одноместном – одна и узкая: вдвоем не разляжешься.)

Однажды я прилетел в Тюмень, пришел в гостиницу (место было забронировано), осмотрел пустой и чистенький двухместный номер, заселился – то есть бросил сумку да умылся с дороги – и двинулся по делам. Спускаясь по гостиничной лестнице, я еще размышлял, кого мне бог пошлет, и даже вспоминал историю про то, как так же вот жили двое в двухместном номере. И

вдруг один видит, как второй, по оплошности не прихлопнув дверь ванной, моет в раковине умывальника... что моет?! Вот то самое и моет.

- Нет, ну смотри, - громко и злобно говорит первый.
- Ты что?!

Охренел?! Я там рожу мою, а он ЕГО своего поганого полощет! Иди вон к унитазу и полощи там!

- Ага! - мрачно отвечает второй, перед тем как захлопнуть дверь. -

Если б, чего доброго, ОН у меня был как у тебя рожа, я б ЕГО точно в унитазе мыл!..

И было мне грустно обо всем этом думать.

Но потом я вышел из стеклянных дверей гостиницы, вдохнул свежего воздуха - и отвлекся до позднего вечера.

Вечером же, когда я открыл дверь номера, меня и впрямь встретил неведомый мне до той поры... кто? Сожитель? - нет, как-то неловко.

Сосед? - какой же сосед, если мы с ним в одной комнате дружно храпим и солидарно нюхаем носки? Соспальник? - м-м-м... вот именно что соспальник... да, пожалуй что соспальник. Одетый в свежую белую рубашку с галстуком и черный пиджак, соспальник сидел перед виртуозно накрытым столом. В серебряном ведре мерзла "Столичная".

Листья салата сверкали каплями воды. Икра антрацитово блестела в одном урыльничке и стыдливо пунцовела в другом. Слезился сырок.

Колбаска... гм!.. (Прекратите! Это теперь до тошноты противно читать в ресторанном меню "селедочка с картошечкой, маслицем и лучком", а прежде уменьшительные суффиксы отражали самую суть благоговейного отношения советского человека к продуктам питания!) Да, селедочка! И огурчики (см.)!

Когда я переступил порог, соспальник встал, вытянувшись как на смотру.

Затем он одной рукой пригладил седой вихор, другую прижал к груди и плачуще возгласил:

– Господи! Наконец-то! А я уж думаю – когда?!

Для меня оказалось некоторой неожиданностью, что нижняя часть его тела была облачена в мизерные, по сравнению с пиджаком и галстуком, сиреневые кальсоны.

Тем не менее мы с ним славно поужинали. Он, как выяснилось, был человеком старой закалки: в одиночку пить не мог ну просто ни в какую.

Грузины

Однажды мы с Мамукой Анджапаридзе пили пиво в пивном баре на улице

Строителей.

То ли денег у нас не было, то ли в пивном баре ничего не было. Так или иначе, к пиву мы взяли самое простое – по две соленые сушки.

Теперь нет соленых сушек. Следует разъяснить, какими они были.

Соленая сушка – это сушка, посыпанная крупной солью.

Заметим, что если сушку просто посыпать солью, ничего хорошего не получится. Сушка и соль не соединятся. Соль останется сама по себе, сушка – сама по себе. Ведь сушка потому и сушка, что сухая. Она славно хрустит на зубах, однако соль к ней не пристает. Для того чтобы соль приставала, сушку нужно как следует намочить. Конечно, после того, как ее намочили, сушка потеряет прежние свойства: она перестанет быть сушкой. Это уже не сушка – не сухая, не хрустит. Она мокрая, с раскисшим боком. Зато соленая.

Мы пили жидкое пиво "Колос", слизывая соль с клеклых сушек, и от нечего делать я посвящал Мамуку в секреты приготовления плова.

– Красиво говоришь, – хмуро сказал Мамука, когда я замолк. – Про плов я все понял. Вари мясо с рисом, и все дела... – Вдруг он ожил:

– В общем, получается, что таджики (см.) – это что-то среднее между грузинами и китайцами.

– Почему? – спросил я, пораженный резвостью его народной мысли.

Мамука сунул в рот вторую половину соленой сушки и сказал, жуя:

– Мы едим одно мясо. Китайцы – один рис. А таджики – мясо с рисом.

Двадцать копеек

Был поздний декабрьский вечер. Я смотрел в окно, где мелькали фонари и льдистые тротуары, а размышлял лишь о том, что незадолго до Нового года жизнь кажется особенно безрадостной. Через несколько дней запахнет елками, повеет праздником, замерцают огни – и в душе посветлеет, и зима станет не такой холодной и слякотной. Но пока еще ни елками не пахнет, ни огни не мерцают, и на душе одиноко и тоскливо.

Промерзший троллейбус гудел и дребезжал, безоглядно летя по темному

Дмитровскому шоссе. Я сидел на заднем сиденье – лицом против движения. На противоположном, через проход, подремывал случайный

попутчик (см.) – подвыпивший мужичок лет пятидесяти. Одет он был явно не по сезону – курточка из болоньи, засаленная кепка с пуговкой... Впрочем, я и сам-то был одет не по сезону. И должно быть, вид у меня был такой же – нахохленный и недовольный.

Троллейбус резко подвалил к очередной остановке и со скрежетом открыл двери. В салон взобрался новый пассажир. Двери схлопнулись, троллейбус взвыл, и мы погнались дальше.

В отличие от нас, пассажир был одет по сезону – распахнутая дубленка, струение мохерового шарфа на груди. Упитанный, краснолицый, благодушный, он источал веяние тепла и сытости – должно быть, только что из-за стола, где принял граммов триста пятьдесят коньяку под плотную мясную закуску. Оглядев нас с неудержимой приветливостью, он шагнул к билетному автомату и вынул из кармана горсть мелочи.

Троллейбус тряхнуло на колдобине, мелочь посыпалась, а пассажир чертыхнулся.

Улучая моменты более или менее прямолинейного и равномерного движения, он наклонялся, подбирал несколько монет и снова хватался за спасительный поручень. При одном из наклонов раздался характерный звук. Владелец дубленки вполголоса сказал по матушке, смущенно оглянулся, а затем продолжил свои упражнения.

В конце концов он собрал, как ему казалось, все.

Одна монета осталась незамеченной.

У человека на заднем сиденье был выбор.

Стоило ему пересилить свой порыв – и тогда буквально через минуту он сам смог бы подобрать потерявшуюся монету. Что ни говори, а ему, одетому не по сезону, она была куда нужнее, чем сытому пассажиру в роскошной дубленке!..

Его лицо отразило краткую душевную борьбу. Потом он нетрезво указал на двугривенный и брюзгливо бросил:

– Эй, ты! Который пернул! Вон еще двадцать копеек!

Дик Даглас

Большую часть своей жизни он является менеджером по продажам – занят живым делом, работает с людьми и чем ярче проявляет свойства, присущие массовику-затейнику и балаганному зазывале, тем большего успеха добивается на этом непростом поприще. В его внешности нет ничего, что указывало бы на холерический, флегматический или, не дай бог, меланхолический темперамент. Это типичный сангвиник – большой добродушный человек в просторном дорогом пиджаке, с пузцом, которое выглядит при нем совершенно естественно – настолько естественно, что отсутствие такового показалось бы заметным уродством; краснощекий, губастый, с небольшими, но блестящими глазами и если не улыбающийся, то всегда к этому готовый.

Он появляется в офисе каждое утро: многословно и радостно здоровается, осведомляется о делах. Вы так же радостно его приветствуете. Что касается дел, то их невпроворот (см.

Специализация), а время идет впустую, потому что он профессионально общителен, а ваше слабое знание английского его ничуть не смущает.

– О! – восклицает он, заметив, что вы посматриваете на часы, и на безоблачную только что физиономию набегают тучки. – Я понимаю: вы скучаете! Я понимаю! Чужая страна, чужой язык!.. Ну, ничего! – Лицо несколько проясняется, и он хлопает вас по плечу. – Мы будем бороться с вашей скукой! Я не дам вам загнуться с тоски в этой чертовой Америке! А? – Добродушно хохочет и еще раз легонько рукоприкладствует – дружески тычет кулаком в живот. – В этой проклятой стране! А? Нет, нет! Сегодня везу вас обедать!

Обед с ним – это история часа на два с половиной. Вы робко протестуете – мол, стоит ли? Гораздо проще сбегать за сэндвичами в кафе напротив. Оно и дешевле.

– Нет, нет и нет! – громыкает он, воздымая руки жестом категорического отрицания. – Не может быть и речи. При чем тут деньги? Главное – чтобы вы чувствовали себя как дома. Ради этого наша фирма не пожалеет никаких денег. Обедать, обедать!

Остается надеяться, что его отвлекут какие-нибудь дела – должны же быть у него какие-нибудь дела? – и он о вас забудет. Тогда вы, быть может, успеете отладить барахлящий модуль программы – без нее завтрашняя демонстрация, о которой оповещены начальники шести отделов, не имеет никакого смысла.

Однако уже в четверть первого он, поигрывая ключами от машины, с приветливой ухмылкой заваливается в кабинет. Вздыхнув, вы поднимаетесь из-за компьютера. Сорок минут езды до какого-то уникального ресторана на побережье. Ожидая, пока подадут клэм-чауду

(см.), вы говорите о трудностях английского языка.

– Представляю, как вам тоскливо, – сообщает он, скорбно качая головой. – Пожалуй, надо мне взяться за русский. А? Если мы собираемся сотрудничать – а наша фирма всегда строит отношения с партнерами на долговременной основе! – мне, конечно же, следует немедленно приниматься за русский. Положите картофеля. И потом, мне хотелось бы проявить солидарность. Ведь мы друзья. Почему вы должны мучиться в одиночку? Да, решено, я начинаю учить русский! Можете достать мне учебники и кассеты? Попробуйте этот соус. Зачем терять время? Пройдет полгода, я приеду в Москву – вот уж удивится ваш босс, когда я заговорю с ним по-русски!

Он хохочет и поддает в бок локтем, в результате чего вам не удастся удержать весь сок в стакане –

часть проливается на брюки.

– Вот будет здорово! – повторяет он, протягивая салфетку. Впрочем, у вас есть своя. – Вот уж он удивится! Не успел Дик Даглас приехать – а уже с порога на чистом русском!.. Да, я должен, должен. У вас такая большая страна. Почти такая же большая, как Америка. Вам сейчас там тяжело... я понимаю, да... Но не надо унывать. – Лицо его становится серьезным, глаза влажнеют. – Я буду молиться за вашу страну. Да. И я, и мои дети. Трудности проходят. Все пройдет.

Когда-нибудь мы встретимся с вами – и будем говорить по-русски, вспоминая былые трудности. Мы обязательно сделаем это. Вы приедете ко мне, мы будем готовить барбекю... точно так же, как мы займемся этим совсем скоро. Будем стоять у жаровни и вспоминать прошлое.

Обязательно, обязательно выучу русский! Кстати, – оживляется он, – надеюсь, вы не забыли, что скоро я приглашу вас к себе на барбекю?

О, это будет чудесный праздник!

– Что вы, – отвечаете вы. – Как можно.

Он то и дело заговаривает о том удовольствии, которое вы получите, когда приедете к нему в гости. По его словам, это произойдет совсем скоро. Однако если учесть, что о радостях барбекю он начал долдонить на третий день вашего пребывания, а теперь пошел уже третий месяц, придется заключить, что в его системе воззрений "совсем скоро" представляет собой чрезвычайно расплывчатое понятие. За десертом он, как всегда, пускается в подробности грядущего веселья.

Осведомляется, что вы будете пить в этот светлый день, и с такой простодушной заинтересованностью ждет ответа, как будто вы можете сказать что-то новое. Разъясняет устройство жаровни. Растроганно

вспоминает, как любят стоять возле нее дети. Все это вы уже слышали.

И сами не один раз расписывали, как жарят мясо у вас на родине. Но вы довольны, что он говорит о барбекю. Ведь если он не будет говорить о барбекю, ему придется толковать о чем-нибудь другом.

Счастье, если это будут водные лыжи или акции трубопрокатных заводов. С такой же легкостью он может взяться за предметы, о которых русский способен говорить спокойно только после второй бутылки, а на трезвую голову они вгоняют его сначала в краску, а потом в тоску, – добро и зло, вера и безверие, жизнь и смерть... Бог с ним, лучше уж барбекю.

Теперь от него просто спасу нет – каждый день тормошит, добиваясь информации насчет кассет и учебников. С одной стороны, есть основания полагать, что ни по-английски, ни даже по-русски вы уже не услышите от него ничего нового. С другой – он все-таки хочет постичь нечто такое, что вам как нельзя более понятно и близко. Это подкупает. В сущности, вам приятен его пыл. Если бы он вознамерился учить китайский, вы бы и пальцем не пошевелили. А ради русского языка названиваете в Москву, пытаетесь организовать покупку и пересылку всего необходимого. Все это встает в копеечку, но посылка в конце концов приходит. Этим же утром он торжественно сообщает, что праздник близок – в ближайшее воскресенье он ждет вас у себя.

– Что вы будете пить? – спрашивает он с необыкновенной серьезностью.

– Да, и кстати: что там насчет моих кассет?

Вам тоже хочется сделать ему приятный сюрприз, поэтому пока вы помалкиваете и только разводите руками – мол, что сказать: почта есть почта.

Зато в воскресенье вы заявляетесь к нему в гости с целой охапкой книг и коробочек.

- О-о-о! - восторгается он. - Здорово! Вот уж спасибо! Все, начинаю!

Правда, сегодня уже не получится. - Он подмигивает со значением. -

Сегодня мы будем веселиться. Не правда ли? Сегодня барбекю, бар-бе-кю! О, вы еще не знаете, какое удовольствие мы получим! Но уже завтра я начну учить ваш язык. Через три дня мы всласть поболтаем по-русски! Знакомьтесь. Это моя жена Лиззи. Лиззи, смотри, что мне прислали из России! Через три дня я буду говорить по-русски.

Ты рада? - Лиззи рада, она кивает и смеется. - Отлично! Не пройдет и трех дней, как ты меня перестанешь понимать! Это шутка, конечно, -

Лиззи понимает меня как никто... Ладно, давайте-ка для начала я покажу вам дом. Начнем снизу.

Вы послушно начинаете снизу. Огромная кухня, внушительная столовая, множество полупустых комнат. В одной из них на стене висит цветастая бумага в солидной дубовой раме. Это диплом, который он получил в восьмом классе, когда их команда заняла третье место в соревнованиях по футболу.

- Мой сын должен знать, как жил его отец, - говорит он с добродушной серьезностью. - Пойдемте дальше, у нас еще много работы. Ха-ха-ха!

Он часто шутит. Шутки простые и понятные. Произнеся очередную, он добродушно и заразительно хохочет. Вы тоже не можете удержаться от смеха. Вы ходите из одной комнаты в другую. Все они похожи.

Непонятно, зачем их столько. Может быть, к нему наезжают родственники. Кто его знает. Неясно также, для чего он так подробен.

Не упускает ни единой мелочи. Вы несколько недоумеваете. Но что делать?

- Теперь на второй! - грохочет он и широким жестом указывает в сторону лестницы. - Вперед! Не хмурьтесь!

Это последний дом, который я показываю вам, говоря по-английски! Не исключено, что скоро мы переедем. Дети подрастают, становится тесновато. Я присмотрел один чудесный особнячок в Белвью. Когда приедете в следующий раз, я объясню его устройство на вашем родном языке!

На втором этаже – спальни.

– Это спальня моего сына! – торжественно громыхает он, подталкивая вас, чтобы вы не толклись на пороге, а зашли поглубже и оглядели все как следует. – Ему восемь. Боевой парень. Окна на восток. Пойдемте дальше. Это спальня дочери. – Снова подталкивание. – Ей тринадцать.

Очень занятая девочка. Уже зарабатывает. Вот ее стол, вот тетради, книги... По воскресеньям мы ходим в церковь. Окна на восток. Я учу моих детей быть добрыми. Видите? Это ванная комната. Ею пользуются дети. Здесь есть все необходимое. Вот ванна. Вот душевая кабина...

Вы киваете и угукаете.

– Пойдемте дальше. Это наша спальня – наша с Лиззи. – Подталкивает, чтобы вы не отлынивали. – Вот наша кровать. Окна на восток.

Заметьте, наша спальня вдвое больше, чем детские. Это справедливо, ведь нас двое. Это наша ванная комната. Видите? Это ванна. Это окно.

Я люблю естественный свет в ванной. Окно на восток.

Вы киваете. Взгляд падает на раковину. Она противоестественно длинная. Над ней из стены торчат два крана.

– А это что?

– Это? – Он оживляется, ваш интерес действует на него как наркотик.

– Это раковина. Видите ли, мы с Лиззи встаем в одно время и не можем ждать друг друга, чтобы умыться. Мы

умываемся вместе. И полотенца висят с обеих сторон. Видите?.. Здесь мы вместе умываемся, а здесь... – Он делает многозначительную паузу и указывает на душевую кабину: – А здесь мы вместе принимаем душ!

Расплывается в ожидающей улыбке. Вы угадаете и пятитесь. В конце концов, хорошенького понемножку.

– Wait a minute, – говорит он добродушно. – You don't understand!

I'll repeat. So...1

Черт его знает. Ваш английский и впрямь хромает на все четыре ноги.

На всякий случай вы сосредоточенно хмуритесь.

– Итак, – повторяет он, и его полное розовое лицо принимает выражение лукавства. – Повторяю. Здесь мы вместе умываемся. А **ЗДЕСЬ МЫ ВМЕСТЕ ПРИНИМАЕМ ДУШ!!!**

Вы переглядываетесь с товарищами.

– Ну хорошо, хорошо, – говорите вы. – Понятно. Пойдем вниз?

Его лицо становится растерянным. Кажется, он даже бледнеет.

– Э! э! подождите! – говорит он встревоженно. – Вы что? Вы поверили, что ли? Бросьте! Это была шутка. Это была просто шутка. Честное слово, я пошутил. Мы никогда! – вы слышите? – никогда не принимаем душ вместе!! Мы приличные люди!.. Вы мне верите? – смятенно спрашивает он. – Скажите – **ВЫ ВЕРИТЕ МНЕ?!**

Вы верите ему. Вы делаете все, чтобы впечатление от этого глупого недоразумения как можно скорее сгладилось. В конце концов, он не виноват. Если кого и винить, то это вас – за то, что вы напрочь лишены чувства юмора.

И вот проходит этот длинный день: беготня по саду!.. футбол с маленьким Биллом!.. вино!.. закуски!.. вкусно и весело!.. и барбекю, барбекю!.. Только почему-то вместо мяса пожарили гамбургеры, и они долго

напоминают о себе неистребимым послевкусием столовского бутерброда... но это не важно.

В понедельник его нет... во вторник нет... в среду вы только-только успеваете подумать, что, оказывается, вам его немного не хватает, как дверь распаивается от энергичного пинка.

– Есть! – громыкает он с порога. – Я выучил! Теперь-то я знаю, что сказать, если приеду в Москву и заблужусь в метро! Я выучил!

– Ну?

– Just a moment... sorry... Oh, yes!..2

Он расправляет плечи, выкатывает живот, набирает в грудь побольше воздуха и ликующе возглашает первое и последнее, что вы слышите от него по-русски:

– Йа поть-ей-йарь-лься!..

Достопримечательности

Говорить в Замке (см.) было особенно не с кем, да я и не стремился. Однако время от времени в Literarisches Colloquium Berlin устраивались вечера, приемы, публичные чтения, выступления писателей, завершавшиеся скромными угощениями. Меня тоже приглашали, а пара-другая кружек пива неминуемо развязывает язык (см.).

На такой как раз вечеринке мы разговорились с Виктором, одним из людей, которые работали в офисе Замка. Правительство Берлина не считало поддержание литературного процесса своей первоочередной задачей, скардничало, главное для них было сводить концы с концами.

Замок предлагал свои залы для проведения разнообразных торжеств.

Холлы, украшенные резными панно и деревянными скульптурами, пользовались большим спросом у киношников – они любили снимать здесь сцены из жизни людей высшего света. В офис к Виктору я приходил, чтобы воспользоваться его принтером.

– Слушай! – сказал он. Мы беседовали по-английски. – Ты знаешь, а ведь я тоже учил русский язык...

– Ну да, – кивнул я. – Все дети Восточной Германии учили русский язык.

Мы отхлебнули из своих кружек.

– Очень трудный язык, – вздохнул Виктор. – Особенно произношение.

– Да ладно, – сказал я. – По сравнению с немецким это просто детская забава.

Он отмахнулся:

– Что ты!.. Есть одно такое русское слово... как же его... м-м-м... никогда не мог произнести... его

Доцент

Доцент Батонов пришел на занятия с синяком под глазом. Огляделся, подслеповато щурясь. И сурово сказал, демонстрируя студентам искаленную оправу:

– Мне вчера наступили на очки... поэтому я буду говорить тихо!..

Евреи

Когда Семена выписали, на его место положили Равиля. Это был молодой человек лет двадцати пяти, страдавший остеохондрозом шейных позвонков.

Он говорил с сильным акцентом, и порой я совсем его не понимал.

Равиль недавно приехал откуда-то из-под Бугульмы – из глухой татарской деревни.

Он был одет в спортивные брюки и синюю олимпийку, из отложного воротника которой с достоинством торчала его кривоватая шея.

Каждый день к нему приезжала жена Флюра.

– Здравствуйте, – вежливо говорила она мне, а потом стрекотала с мужем по-татарски.

Равиль немножко капризничал – например, недовольно пожимал плечами, брезгливо показывая пальцем на замысловатый пирожок. Флюра мягко его увещевала и подсовывала куски послаще.

Как следует закусив, Равиль одевался, и они шли гулять в больничный парк. Я старался удалиться при начале трапезы, и Флюра говорила мне свое вежливое "до свидания", когда они уже шагали коридором – она в норковой шапочке, он в бобровой, и оба в кожаных пальто. Кажется, я и сейчас смотрю им вслед – хотя с той поры, когда свиная кожа представлялась материалом, единственно пригодным для шитья царских мантий, прошло уже немало времени.

Вернувшись с прогулки, Равиль снимал пальто и опять превращался в заурядного пациента. Мы сидели в холле перед телевизором, а то, бывало, перекидывались словечком.

– У нас все хорошо, – говорил Равиль, массируя шею и с некоторым трудом подбирая слова. – Два года назад

брат звал – приезжай дворником работать. Я приезжал. Комнату получал. Потом дядя с Флюрой знакомил, женились. Она раньше тоже дворником работала. Как восемь классов кончала, так и приезжала дворником работать. Комнату получала. Теперь в магазине работает. Сестра в магазине работает.

Брат в магазине работает. Жена брата ругает – пьет много. Я пока водку не пью. Мне еще комнату отрабатывать, зачем водку пить? Сок можно пить. Праульны? Номеральная вода можно пить. Праульны? Я во дворе был, один пришел, говорит – давай стакан. У меня откуда стакан? Говорит – бумагу давай. Я давал ему бумагу. Он из бумаги ворончик делал, из ворончик водку пил. Ц-ц-ц, непраульны... Зачем? У нас и так все хорошо.

Постепенно вырисовывался образ типичного представителя того, что в эпоху наивных социалистических понятий называлось "татарской мафией". Это были те самые татары, про которых говорили, что они обратились в ЦК КПСС с просьбой каким-нибудь образом изменить обидную для них поговорку: незваный гость хуже татарина. ЦК КПСС поговорку изменил: незваный гость лучше татарина. Как тысячи и тысячи других, Равиль приехал из татарской глубинки советского разлива, где легенды о вкусной рыбе "селедке" бережно передавались из поколения в поколение. Равиль только начал, а другие, отмахав метлой положенные десять лет, после которых их уже не могли выписать из казенной комнаты, поднялись ступенью выше – до уровня продуктового магазина. Мужчин брали грузчиками, женщин – уборщицами.

Следующая ступень, она же вершина, являлась должностью продавца в магазине промтоваров... Паутина татарских связей опутывала всю торговую сеть. Благодаря своим бесчисленным родственникам

татарам удавалось доставать кожаные пальто и балыки. Или менять одно на другое. За это москвичи, не причастные к процессу распределения материальных благ, активно их недолюбливали. Я никогда не мог понять, почему именно татар, – ведь татарская мафия была последней по значению структурой общества, которая невозбранно пользовалась балыками и кожаными пальто. По-видимому, с неприязнью дело обстоит так же, как и с любовью, – кто ближе, на тех и косишься.

Равиль непрестанно напирал на то, что у них все хорошо. Должно быть, картины голодной грязной татарской деревни, где его беззубая бабушка любила сосать завернутый в тряпицу сухарь, неотступно стояли перед глазами.

– У нас все нормально, – толковал Равиль. – Брат Флюры Ренат в универмаге работает. Я прошу, он две хорошие рубашки достает. Еще мне резину на колеса новую надо. Дядя одного нашего парня знает на сервисе. Он меня с ним знакомит. Этот парень резину достает, Флюра для его жены чего-нибудь делает. Нет, у нас все хорошо. Праульны? Мы не жалуемся.

Однажды я не выдержал и спросил:

– Равиль, скажи, ну а хоть что-нибудь плохое в жизни бывает?

Он посидел пригорюнившись, потом вздохнул и сказал, коряво выговаривая слова:

– Нет, все хорошо... Только вот, знаешь, евреи задолбали!..

Женоненавистничество

Не так давно по одному из телевизионных каналов мелькнул сюжет насчет антифеминистской демонстрации в одном из небольших городов

США. Местные суфражистки требовали провести закон о запрете для мужчин мочиться стоя в общественных туалетах. По улице медленно двигалась толпа мужиков человек в триста с какими-то плакатами в руках, и, честно сказать, таких угрюмых рож я уже давно не видел.

В целом женоненавистничество подвергается в обществе осуждению, однако все же находит множество приверженцев, отыскивающих ему бесконечное количество оправданий.

Так, например, Женя любил подробно рассказывать обо всех тех неисчислимых несчастьях и тяготах, которые принесли ему его многочисленные отношения с женщинами.

Следует отметить, что партия (см.), в которой мы тогда оба числились, размещалась отдельно от экспедиции в подвале жилого дома на улице Димитрова, ныне Якиманке, то есть в достаточном удалении от начальства. Поэтому мы имели возможность всласть поговорить, чему и предавались значительную часть рабочего времени – разумеется, за исключением тех двух или трех священных часов, когда Женя посещал рубщика Сашу с целью детального изучения анатомии свиньи (см.).

Женя много претерпел в жизни от женского пола, бывал очень подробен в своих претензиях и не признавал никаких компромиссов в вопросах его безусловного осуждения. Стоило бы в свое время записывать его красочные, цветистые описания

пороков, имманентно присущих женской половине человечества, – жадности, нечистоплотности, глупости, безответственности, расхлябанности, неумения готовить пищу и студить пиво! Стоило бы запечатлеть на пленку выразительную мимику его благородного лица, которая сопровождала эти речи! Сердце обливалось кровью, когда он с мечтательной грустью говорил, что душа его давным-давно испепелена и единственное, чего бы он желал ныне, так это никакую не женщину, а кейс, костюм и "саламандру". Да, никакая не любовь, в которой он давно и прочно разочарован, а исключительно и только кейс, костюм и "саламандра" могли бы скрасить закат его дней. Однако просто так в Совдепии ничего не купишь, а на переплату денег нет, поскольку всё сжирают проклятые алименты, и поэтому столь нужный в его положении кейс, новый костюм (взамен старой пиджачной пары, протертой на локтях и коленках) и ботинки (см.) фирмы (см.) "Саламандра" остаются хоть и красивой, но несбыточной мечтой...

Что касается меня, то я, конечно, тоже в жизни не только мед пил и сахаром закусывал. Я тоже мог много чего поведать о причудах женского характера. Но, имея все основания безоговорочно поддержать точку зрения коллеги, занимал тем не менее более умеренную позицию.

Я толковал, что женщины, подобно цветам, поддаются классификации

(см.) и на практике следует учитывать различия, существующие между ними. Да, среди них попадаются цветы из разряда насекомыхоядных

(см.), которые норовят безжалостно растворить тебя в своем желудочном соке. Но даже если тебе так не повезло – ты столкнулся с подобным монстром, едва унес ноги и всю жизнь чувствуешь многочисленные последствия этой несчастной для тебя встречи, – стоит

ли и прочих записывать в их число? Ведь живут на свете одуванчики, по которым все ходят сапогами. Попадаются фиалки, расцветающие к ночи. Существуют торжественные цветы типа георгин, наиболее уместные при проведении различного рода траурных мероприятий... а также орхидеи, которыми можно только бесцельно любоваться. Ну и т. д.

Я приводил тот или иной пример (см. Стоп-кран) женской самоотверженности и бескорыстия, описанные в литературе, призывал к терпимости, толковал, что в крайнем случае, если не нравится одна, всегда можно приискать другую. Женя закатывался мрачным смехом, однако его блестящие по форме и глубокие по содержанию рассуждения о том, что мужчина и женщина филогенетически (см. Филогенез) настолько отличаются друг от друга, что на фоне этой разницы совершенно не имеет значения, с какой именно представительницей противоположного пола ты имеешь дело, – рассуждения эти не казались мне безоговорочно убедительными.

В подвале частенько засорялась канализация. Отряд сантехников возглавлял Петя. Он казался несколько разумнее своих расплывшихся синеносых напарников. Тем не менее и с ним вести переговоры было очень утомительно. Камнем преткновения являлось количество спирта, который должна получить бригада за прочистку трубы. Разговор буксовал, ссылки на имевшиеся ранее прецеденты молчаливо отвергались, и когда наконец эти деятели отказывались от своей безумной претензии на пол-литра ректификата, удовлетворяясь издревле положенными им двумя сотнями граммов, проходило не менее сорока минут.

Как-то раз, завершив торг, проследив за работой и выдав оговоренную мзду, я закрыл за ними дверь и, утирая пот со лба, направился к Жене.

Женя мирно сидел за рабочим столом и неспешно писал что-то на листе бумаги.

- Кошмар, - сказал я, приваливаясь к дверному косяку. - Просто ужас!.. Нет, знаешь, мне все-таки кажется, что средняя женщина умнее среднего мужчины.

Если б я мог предположить, какое действие произведут эти слова, у меня бы в жизни язык не повернулся.

Я впервые видел, как человек уронил вообще все, что у него в этот момент было. Из руки выпала самописка, с носа слетели очки, с бряканьем повалился пластмассовый стакан с карандашами, карандаши раскатились, и почему-то бешено замигали люминесцентные лампы. Я бы не удивился, если бы вдобавок с него упали брюки.

- Что?! - негромко спросил Женя, страшно посмотрев.

Он оперся о стол руками и стал, не сводя с меня сверлящего взгляда, медленно подниматься со стула.

Затем воздел ладони к низкому потолку, немо потряс ими на манер одного из ветхозаветных пророков, призывающего небеса обрушить своды подвала на мою неразумную голову, и трагически проревел:

- Где ста-тис-тика?!!

Заблудившийся трамвай

Слово "поэт" в юности ассоциировалось у меня с возвышенностью и без оглядной отвагой, граничащей с безрассудством.

Первые мои стихи (см.) опубликовал журнал "Памир", который

(царство ему небесное!) многие годы был единственным изданием, признававшим меня как автора, за что я ему благодарен и по сей день.

Стихами занимался Л., ответственный секретарь журнала, известный в республике поэт.

Мы сидели в его кабинете, Л. просматривал плоды моего труда, что-то мычал и хмыкал.

– Ну что ж, – сказал он в конце концов. – Неплохо, неплохо.

Попробуем парочку протолкнуть в девятый или в десятый номер... А вот знаешь, я где-то, кажется, уже слышал такое название. Нет? Не припоминаешь?

И протянул мне лист, на котором мной собственноручно было напечатано недавно написанное мною же стихотворение, название которого явилось плодом моих собственных напряженных и честных раздумий:

"Заблудившийся трамвай".

Я недоуменно помотал головой:

– Не знаю... Я не встречал.

– Да?.. Ну, ерунда. – Поэт Л. махнул рукой. – Бывает так, знаешь.

Показалось. Все, оставляй!

Он хлопнул руками по столу и поднялся, показывая тем самым, что разговор окончен.

Я вырос (см. Родословная) в семье, не имевшей никакого отношения к филологии, учился в Нефтяном

институте, и, в конце концов, в силу причудливых представлений советской власти о добре и зле мне было простительно в ту пору не знать, что "Заблудившийся трамвай" – это известное стихотворение Николая Гумилева, поэта, путешественника, офицера, расстрелянного большевиками в 1921 году в связи с не то реальной, не то гипотетической его причастностью к белогвардейскому заговору.

Когда я узнал это (очень скоро, буквально через пару месяцев), то подивился, что известный в республике поэт Л. тоже страдает подобной неосведомленностью.

И прошло еще несколько лет, прежде чем я понял, что поэт Л., разумеется, знал, кому принадлежит стихотворение "Заблудившийся трамвай".

Но не сказал мне этого.

Это нужно представить себе: поэт не сказал поэту! Скрыл от него!

Поэт – поэту!!!

Но почему, почему скрыл?! Ведь поэт – поэту! И не сказать?!

Думаю, ход рассуждений поэта Л. был прост.

"Я сообщу сейчас этому юноше, что стихотворение с точно таким же названием есть у Николая Гумилева – поэта, путешественника, офицера, расстрелянного большевиками в 1921 году в связи с его не то реальной, не то гипотетической причастностью к белогвардейскому заговору. Юноша вежливо поблагодарит, простится – и направит стопы прямехонько в приемную ЦК КП ТаджССР, в отдел культуры. И скажет там, скорбно кивая, что поэт Л., занимающий должность ответственного секретаря журнала "Памир", сеет плевелы враждебной нам идеологии, используя свое служебное положение для пропаганды в среде начинающих авторов произведений

белогвардейских поэтов, справедливо расстрелянных за участие в заговорах против советского строя и страны рабочих и крестьян. После чего меня уволят, на мое место сядет А., на место А. переедет Б., на место Б. – В., и в результате последнего перемещения освободится местечко, на которое вправе будет претендовать этот милый и бдительный юноша, плохо знающий историю отечественной словесности".

Что же касается стихов поэта Л., то некоторые из них и впрямь были довольно неплохими.

Но увы – с годами как-то вымылись из памяти.

Зависть

Зависть – плохое чувство. Избавляться от него лучше всего в раннем детстве.

Мальчика Сережу мама отдала на пятидневку.

Не то чтобы она специально хотела ему насолить. Просто жизнь так складывалась, и другого выхода не было.

Утром понедельника Сережа оказался в детском саду. Есть он не хотел, но воспитательница сказала, что нужно идти завтракать.

Сережа вяло принялся за манную кашу и вдруг заметил, что все остальные дети перед тем, как сделать то же самое, достали откуда-то темные пузырьки с откручивающимися крышками, налили из пузырьков полные ложки какой-то жидкости, проглотили, облизали ложки и только после этого приступили к еде.

Сережа заозирался в тревоге. Но никто не обращал внимания на то, что он здесь единственный мальчик, у которого нет темного пузырька с откручивающейся крышкой.

Возможно, будь Сережа характером побойчее, он бы не стерпел такой несправедливости и стал бы кричать: почему у меня нет темного пузырька с откручивающейся крышкой?! Дайте мне темный пузырек с откручивающейся крышкой!..

Но Сережа был тихий домашний мальчик и кричать не стал.

Однако чужие пузырьки не давали ему покоя, потому что и на следующий день, во вторник, и через день, в среду, и в четверг, и в пятницу утром дети, перед тем как приняться за манную кашу, доставали

свои темные пузырьки с откручивающимися крышками, а Сережа только горевал и мучился.

Как хотелось ему иметь такой же темный пузырек с откручивающейся крышкой! Он бы все за него отдал. Он беспрестанно думал: ну почему, почему у меня нет темного пузырька с откручивающейся крышкой?! Разве другие дети лучше меня?! Достойней?! Да нет же! Петя, например, ковыряет в носу. Галя – та вообще вся в соплях. Вера – глаза б мои не смотрели на эту Веру. И почему же тогда у них есть темные пузырьки с откручивающимися крышками, а у меня нету?! Разве это справедливо?!

Насилу дождался Сережа вечера пятницы и, когда пришла мама, поведал ей свою боль.

– Не плачь, сынок! – сказала мама.

Она подошла к воспитательнице, спросила, получила ответ, взяла

Сережу за руку и повела домой.

В понедельник утром Сережа, перед тем как приступить к манной каше, ликуя, открутил крышку своего темного пузырька. Он делал это медленно и торжественно, чтобы все видели – у него тоже есть темный пузырек с откручивающейся крышкой! Он не хуже других!

Осторожно налил, как все, в ложку и, замирая от столь уже близкого наслаждения, вылил жидкость в рот.

Это был рыбий жир.

С тех пор Сережа никому никогда не завидует.

А ведь совсем уже взрослый дядька – с бородой и папиросой.

Замок

Не знаю, как другие, а сам я жил в Замке с удовольствием.

Замок стоял на берегу озера (точнее – системы озер) Ван-Зее, расположенного на западной окраине Берлина, в самой богатой части города.

Замок был высок и величественен. И был знаменит двумя вещами.

Во-первых, в 1944 году в этом Замке, отобранном у еврейского банкира, успевшего сбежать за границу, обитал некий гитлеровский адмирал, имя которого история умалчивает. Напряженные раздумья о судьбах мира и прогресса натолкнули его на мысль о создании торпеды, управляемой пилотом-смертником, – что, несомненно, являлось грандиозным прорывом в военно-инженерной сфере... Во-вторых, много позже, когда нужда в пилотах-смертниках на время отпала, Замок стал называться Literarisches Colloquium Berlin, и одним из его стипендиатов был сам Джон Стейнбек! Кто знает, может быть, я спал на его кровати!..

Рядом с Заком Literarisches Colloquium Berlin высились другие замки. И виллы. Среди них встречались не менее знаменитые. Так, минутах в десяти ходьбы за красивой железной оградой, увитой зеленью, в глубине ухоженного сада стоял мощный серый особняк.

Честно говоря, он выглядел несколько мрачновато. Оказалось, именно здесь в 1942 году синклитом государственных и партийных мужей было принято решение об окончательном решении еврейского и ряда других вопросов, в соответствии с классификацией (см.) по национальному

(см. Национальность) признаку, разработанной нацистскими умниками.

У меня была большая комната с огромным окном на втором этаже.

Створки окна закрывались с помощью сложной реликтовой системы железных штырей и ручек, являвшихся, судя по всему, ровесниками самого Замка. Окно смотрело на озеро. Внешность озера незаметно менялась каждые четверть часа – оно голубело, лучезарно сияло, хмурилось, гнало волну, угрюмо покачивалось, снова голубело...

Режим дня был неизменен и прост. Я вставал в половине восьмого.

В восемь садился за стол, оживлял ноутбук и, позевывая, с отвращением перечитывал последние куски из того, что было написано ранее. Поднести пальцы к клавиатуре не было никакой возможности.

В девять я спускался в зимний сад, где к тому времени был накрыт завтрак.

Выпив две чашки кофе (см.), от которого в голове загоралась лампочка, и захватив кое-какой тормозок, я поднимался к себе, садился за стол и...

И, как водится, переступал порог ада.

В двенадцать я проглатывал половину бутербродов. Понятно, что чай

(см.) я пил беспрестанно.

В четыре я последний раз бил по какой-нибудь клавише (обычно уже не имело значения, по какой именно), вскакивал, чувствуя мелкую дрожь во всем теле и воспаленное трепетание в затылке (все-таки эти сковородки даром не проходят!), с отвращением доедал бутерброды и падал на постель.

Двадцать минут сна приводили меня в чувство, и кроссовки я зашнуровывал именно в том состоянии лихорадочного веселья, в каком

Маргарита вопила, пролетая над улицами:
"Свободна!"

Прогулка занимала около двух с половиной часов. Первые четырнадцать километров – малый круг – вели меня по тенистым берегам перетекающих друг в друга озер в мимолетных компаниях обгонявших меня велосипедистов и неспешных пешеходов, которых я сам моментально оставлял за флагом. Добавочные три, если я решался на продление маршрута, составляла пробежка по безлюдному Глиникер-парку. Здесь не было ни кустов, ни подлеска, ни следов стрижки. Вековые, в три-четыре обхвата, платаны простирали свою благословенную листву непосредственно над полянами, поросшими невысокой свежей травой.

Громадные фиолетовые буки доводили меня до головокружения. Я чувствовал себя марсианином. Я ложился в траву и отдавал глаза небу.

Пройдя парк насквозь, я издалека смотрел на Глиникер-брюкке – мост, соединявший прежде Восточную и Западную Германии. "Мост менял".

Только не через Сену. На Глиникер-брюкке меняли Корвалана на

Буковского, Абеля – на Пауэрса. Старая советская хохма: Бабеля на

Бебеля, Бебеля на Гегеля, Гегеля на... на кого там? Не помню.

К Замку я возвращался другой дорогой – не по берегу, а леском вдоль шоссе, мимо гольф-клуба. Разумеется, я всегда что-нибудь бормотал в ритме шагов. Здесь высятся старые буки... торчат фонари на мосту...

И я, как всегда, руки в брюки... по Глиникер-брюкке иду... Сейчас никого, а когда-то... стояли с обеих сторон... похожие, в целом, ребята... враждующих Миноборон... Там – белые звезды на синем... здесь – желтые на зеленце... та-та-та, та-та-та... покинем?..

откинем?... отринем?.. богиням?.. хрен с ним!.. Но мужество – в каждом лице!..

Часов в восемь вечера я по вполне сходной цене приобретал пакет соленой соломки и литровую бутылку легчайшего рейнского, завинченную беспонтовой жестяной крышкой, как какой-нибудь там "Байкал" черноголовского разлива.

В половине девятого я уже был чист, свеж, умиротворен – и снова садился за компьютер. Я потягивал холодное вино, слизывал крупички соли с хрустящих палочек и читал написанное днем. Что-то правил, что-то вычеркивал. Прикидывал фронт работ на завтра. То есть я, можно сказать, снова трудился. Но это уже был не ад, конечно.

Напротив – рай.

Иногда перед сном я включал телевизор и, окончательно одурев от усталости и легчайшего рейнского, тупо смотрел немецкие новости

(см.). О том, что мне пытаются втолковать дикторы, я мог судить только по картинкам.

Постепенно дичая, я жил так почти два месяца. Я не тосковал, не скучал, мне не хотелось развлечений. Примерно раз в неделю я покидал свое узилище (см.), брел в ближайший ресторанчик и ел какой-нибудь суп. Временами я спохватывался – ведь Берлин под боком! – и мчался брать Рейхстаг или исследовать сокровища Пергамского музея. А потом снова погружался в буквы и забывал о необходимости культурной жизни...

Я смирился с тем, что единственный человек, который может постучать в мою дверь, – это фрау Марта, уборщица. Надо сказать, в Замке была довольно сложная система замков и ключей. Так, например, мой ключ открывал две двери – моей комнаты и парадную. Были ключи, открывавшие три двери, четыре и так далее. Существовали также два главных мастер-ключа, подходивших к дверям вообще всех помещений

Замка. Марта была знаменита тем, во-первых, что потеряла их и, во-вторых, что это трагическое происшествие, грозившее обойтись руководству Literarisches Colloquium Berlin чуть ли не в сорок тысяч марок, не произвело на нее совершенно никакого впечатления, – она только бодро облаяла начальника, вознамерившегося упрекнуть ее за содеянное, и заявила, что, как бы скоро ни собрались ее рассчитать, она все равно готова уволиться из этого долбаного Literarisches

Colloquium Berlin значительно раньше.

Когда я открывал, она протягивала пару рулонов туалетной бумаги и лихо подмигивала, преувеличенно громко, как говорят с глухими, повторяя одну и ту же фразу, перемежаемую замогильным хохотом:

– Ёг ка-ка!.. Ху-ху-ху!.. Ёг ка-ка!.. Ху-ху-ху!..

То еще было явленьице эта Марта...

Коротко говоря, я совершенно забыл, как живут нормальные люди.

Я барабанил по клавишам, как заяц, и носился вокруг озера, как бешеная собака, а мечтал лишь о том, чтобы закончить свою писанину, которая четвертый год тяжким грузом висела на плечах.

Потом появился Марек Шнечински. У него была месячная стипендия, он приехал из Вроцлава и, как скоро выяснилось, говорил по-русски. Мы обнаружили множество одинаково интересующих нас тем и подружились.

Марек оказался весельчаком того самого свойства, которое лично я полагаю единственно приемлемым, – меланхолического.

Вечерняя беготня по озерам и паркам заканчивалась, как и прежде, заходом в магазин. Мы покупали преимущественно круглые в сечении предметы – банки с фасолью (из нее Марек готовил чили), банки с супами (чтобы вообще ничего не

готовить), банки с пивом (потому что бутылки надо сдавать, а это хлопотно) и бутылки с вином (которые мы все равно не сдавали).

Однажды при подходе к воротам Замка желтый пластиковый пакет, только что выданный мне в немецком магазине, разошелся по швам, и покупки раскатились.

Марек грустно смотрел, как я гоняюсь за ними по всей улице.

Когда я кое-как укутал их останками пакета и взял под мышку, он спросил, указывая на сверток:

– Знаешь, что это?

– Ну? – хмуро переспросил я. – Что?

Марек развел руками и печально ответил:

– Это ответ Германии на взятие Берлина...

Зиё

Когда я, в очередной раз утомленный шумом (см.) двигателей и дребезгом самолетных динамиков, возвращался из Душанбе, Женя тут же зазывал меня в свой кабинет.

Подробно изложив последние новости, касавшиеся, как правило, все более детального изучения анатомии свиньи (см.), он вкрадчиво переходил к делу:

- Ну что, понравились Зиё твои новые переводы?
- Вроде бы, - отвечал я, пожимая плечами.
- И в гостях у него был?
- Был.
- Ну?
- Что "ну"?
- Рассказывай.
- Я тебе уже сто раз рассказывал. Всегда ведь одно и то же.

- Нет, ты уж расскажи, пожалуйста.

Я вздыхал:

- Ну, хорошо. Слушай. Прихожу я, значит, к Зиё...
- Утром?
- Нет, не утром. Часам к двенадцати.
- Ага.
- Стол уже накрыт. Сидим...
- Стол какой?
- Стол как стол. Под белой скатертью. Его только при моих визитах используют. Так-то, если на минутку забегаю, он всегда в углу стоит.

Книгами завален.

- На столе что? - спрашивает он, плотоядно облизываясь.

- Как всегда. Две тарелочки с чаккой... ну, с кислым молоком. Свежая лепешка разломлена на куски...

- Какие куски?
- В смысле?
- Какой величины?

Я показываю:

- Вот такие. С пол-ладони.
- Так, - удовлетворенно кивает он.
- Разложены по всему столу. Два блюда с изюмом и орехами. Я первым делом пробую изюм. Чмокаю, ахаю, потом спрашиваю: "Зиё, ин хуб мавиз аз кучо?" А он разводит руками и отвечает: "Аз бозор".

- Это что значит?

- Зиё, откуда такой хороший изюм? С базара!.. Это у нас с ним шутка такая.

- Понятно. Еще что?

- Еще обязательно большая тарелка зелени. Гашниш... то есть, тьфу, кинза... укроп, райхон...

- Это что?

- Это этот, как его... этот... базилик. Лук обязательно. Лук нежный, не горький... все чистое, в капельках воды, просто сияет!..

Женя ерзает и закатывает глаза.

- Так-так-так, - говорит он затем, тяжело сглатывая слюну.

- Ну вот. И бутылка водки, разумеется. Рюмки, естественно... Что еще?.. все, пожалуй. Зиё разливает водку, мы выпиваем и закусываем.

- Чем?

- Как чем? Я же тебе говорю: зелень, то-сё... берешь стрелку лука, пару веточек кинзы... сворачиваешь в такой комочек... макаешь в кислое молоко... и - ам!

- Вкусно?

Теперь я закатываю глаза, а Женя, на меня глядя, стонет и качает головой, как перед обмороком.

- Ну?

- Ну и все. Болтаем себе помаленьку, едим все эти мелочи... а в это время жена на кухне гремит капкиром

о казан.

– Капкир – это что?

– Слушай, я тебе сто раз говорил. Типа шумовки.

– А с вами не сидит?

– Нет. Только если я, например, с женой приду.

Тогда посидит немного.

Женя сладко жмурится:

– Да... Вот он – Восток!.. Ну?

– Опять "ну"! Когда все выпьем и почти все съедим, сынишка приносит блюдо с пловом. Едим плов. Правда, перед пловом еще бывает суп.

"Сиёалаф", например. Из черной травы. Есть такая трава. Охапками на базаре продают.

– И?

– Станный суп. Черный-черный. Но вкусный. Но если суп или, не дай бог, пельмени там какие-нибудь перед пловом – это вообще убийство.

Нет, лучше сразу плов.

Женя чмокает.

– А что пьете?

– Ничего не пьем. Я же русским языком тебе говорю: едим плов.

С пловом не пьют ничего. Ну, обычно не пьют...

– Руками едите?

– Руками.

– Вкусный плов?

– О-о-о! – говорю я, качая головой.

Женя снова стонет, потом горестно шепчет:

– Ай-я-я-я-я-я-яй!..

– Да, именно что. – Я безжалостно подтверждаю близость его умозрительных представлений к реальной жизни. – Именно так: ай-я-я-я-я-я-яй!..

Женя горестно вздыхает.

– Потом пьем чай, – говорю я. – Зеленый. Потом долго еще сидим.

Иногда, если силы есть, делом занимаемся.
Подстрочники, то-сё...

Потом Зиё меня провожает. В общем, до позднего вечера не можем расстаться.

Женя с тоской смотрит в мутное окно московского полуподвала.

Потом поворачивает ко мне голову.

– Да, – говорит он, мечтательно улыбаясь. – Вот он – Восток!..

Интернет:-(

Внутреннее идиотство Интернета в первую очередь проявляется в том, что он приучил людей писать нарочито безграмотно и ставить смайлики.

Смайликом называется вот такая:-) или вот такая:- (комбинация символов. Если положить голову на плечо, то при определенном воображении можно в первом случае увидеть улыбающуюся рожицу, а во втором – опечаленную.

Смайлики в тексте играют такую же роль, какая отведена на дороге знакам дорожного движения. Видишь при подъезде к перекрестку белый треугольник с красной каймой углом вниз – ага, брат, надо уступить дорогу!

Так и здесь. Увидел двоеточие, дефис и закрывающую круглую скобку – значит, тебя сейчас рассмешат. Точнее, тебя уже рассмешили, потому что смеющийся смайлик ставится в конце смешавшей фразы. Сама фраза, возможно, не кажется смешной. Не беда: раз есть смайлик, волей-неволей расхохочешься:-)

Так же и с печалью:-(

Ну не бред ли?

Короче говоря, в процессе поступательного движения человечества по пути прогресса Интернет пришел на смену собиранию марок и выпиливанию рамок.

Прежние занятия (выпиливание рамок и собирание марок) тоже позволяли индивидууму перенести центр тяжести своих интеллектуальных усилий с познания самого себя (в качестве подмножества в эту задачу входит исследование реальности) на познание плодов интеллектуальных усилий другого (филателистических каталогов, узоров

для выпиливания и т. п.), направленных на накопление профанных знаний.

К счастью, вред Интернета все же не так велик, как можно подумать.

В нем реализуется многоступенчатая структура: каждый следующий продуцент профанных знаний опирается на профанные знания, полученные от предыдущего. А в соответствии с законом Маца (см.) благодаря неизбежным искажениям, вносимым продуцентами, седьмая-восьмая передача информации сводит ее содержательную часть к уровню белого шума, то есть приводит к уничтожению знания как такового.

Казахи

В приморском городе Шевченко (прежде он, равно как и поселок

Кенкияк (см.), находился в Советском Союзе, а ныне сменил название и со всеми своими улицами и площадями переехал в независимый

Казахстан) проходил семинар по применению математических методов в геологии. Доклад делал художавый молодой казах. Поблескивая очками, он переходил от трибуны к стендам, чтобы ткнуть указкой в ту или иную диаграмму, а затем возвращался обратно. Наличествующие участники семинара мирно подремывали. Отсутствующие, скорее всего, увеличивали запасы бутылита (см.).

Отведенные регламентом 15 минут подходили к концу.

– Итак, – сказал молодой казахский ученый, – решение актуальной инженерной задачи является...

Он не успел завершить начатую фразу, потому что дверь небольшого зала с треском распахнулась.

Присутствующие вскинулись и невольно закрутили головами, а по проходу между рядами деревянных, нанизанных на одну ось перекидных скрипучих кресел, то и дело забрасывая назад длинные волосы резким движением своей величественной и гордо посаженной головы, уже стремительно шагал Геннадий Красин – широкоплечий, классно одетый и, как всегда, сопровождаемый небольшой стайкой самых красивых матметодологических женщин.

Что говорить, Гена Красин был известным человеком в мире матметодологов. О нем хаживали легенды. Гена Красин стал доктором наук в сорок два года. Гена Красин писал стихи и пел их под гитару.

Гена Красин был горнолыжником и альпинистом. Поговаривали, что он не то штурмовал, не то собирается штурмовать высочайшую точку планеты -

Эверест. Гену Красина окружал звенящий от напряжения ореол женского внимания. Все точно знали, что из-за Гены Красина женщины не только вешались и прыгали из окон, но даже стрелялись - правда, не насмерть, а до первой крови. Короче говоря, Гена Красин был знаменит и умен, остер и нервен.

По-видимому, сейчас он счел, что ему следует немедленно приковать к себе внимание зала, утраченное в силу его временного отсутствия.

- Минуточку! - сказал он, властно вскидывая широкую загорелую руку, украшенную обручальным кольцом. - А что же, по-вашему, такое - инженерная задача?

Казах снял очки и стал подслеповато и скучно смотреть на приближающегося к нему Гену Красина.

- Построить дом - это инженерная задача? - спросил Гена.

- Конечно, - тихо ответил явно стушевавшийся казах.

Свита Красина прыснула.

- А спускать на воду корабль - это инженерная задача? - задал вопрос

Гена.

Фалды его длинного светлого пиджака романтически разлетались.

- Конечно, - снова кивнул казах.

Прысканье свиты перешло в смех.

- А, простите, штаны застегивать - это инженерная задача? - безжалостно спросил Гена, останавливаясь возле трибуны.

- М-м-м... - замялся было щуплый казах, но потом кивнул: - Да, это инженерная задача.

Красавицы картинно переглядывались, возводя очи горе и сверкая жемчужными зубами.

– Так что же, по-вашему, – поворачиваясь к залу и саркастически кривясь, вонзил кинжал последнего вопроса Гена Красин, – что же, по-вашему, не есть инженерная задача?!

Казах помедлил ровно столько, чтобы надеть очки.

Надев их, он вздохнул и ответил так же ровно, как и прежде:

– Отвечать на ваши вопросы.

Кайф

Вова Кайф, светлая ему память, был сыном академика.

Но знаменит он был не этим, а своей неудержимой и бескомпромиссной веселостью.

Не знаю, как сейчас, а в советское время неудержимая и бескомпромиссная веселость немедленно приводила к пьянству и реализовывалась именно в его рамках и понятиях, и никто даже помыслить не мог, что рамки могут быть какими-то другими.

Одаренность Вовы Кайфа проявлялась даже в этих довольно тесных рамках. Так, например, однажды Л., близкий друг Вовы Кайфа, попросил помочь отвезти товарища домой. Стоять на ногах тот не мог, глаз не открывал.

Большая и тяжелая дверь академической квартиры в полукруглом доме напротив Киевского вокзала, на противоположном берегу реки Москвы, была оснащена добрым десятком разномастных замков.

– Ничего себе, – сказал я.

– Нормально, – ответил Л., выуживая из кармана Вовы Кайфа гремучую связку ключей. – Он всегда только на один закрывает.

– На какой? – поинтересовался я.

– Сейчас узнаем, – загадочно ответил Л.

С этими словами он вложил связку в руку Вовы Кайфа (мы его пока прислонили к стенке, чтобы не держать попусту), затем нежно развернул лицом к двери и придал небольшое ускорение.

Не поднимая головы, Вова Кайф посеменял вперед, по-птичьи ударился о кожаную обивку, негромко

взбрыкнув при этом своей связкой, и с тихим стоном мягко сполз на пол.

– Вот видишь, – сказал Л. – А ты боялся.

Я глазам своим не мог поверить, но это было именно так: в одной из десяти замочных скважин торчал нужный ключ.

Стоит ли говорить, что в силу своей неудержимой и бескомпромиссной веселости Вова Кайф не мог быть верным ленинцем и активным комсомольцем. Но однажды его все-таки запулили в пионерский лагерь в качестве старшего вожатого. На первой же линейке, которую ему нужно было провести, Вова, пребывающий в той неприятной рассеянности, что возникает наутро после приема излишних порций горячительных напитков, пересиливая тошноту и морщась от головной боли, усиливаемой топотом марширующих пионеров, а также беспорядочными звуками горна и барабана, дождался все-таки, когда младшие вожатые построят свои проклятые отряды, а затем, с трудом вспоминая чеканные формулы и запинаясь, слабо прокричал:

– К борьбе за дело!.. коммунистической партии!.. и!.. и лично

Владимира!.. э-э-э... Ленина!..

Тут его снова замутило.

Но он все же собрался с силами и закончил:

– Будьте любезны!

Каротаж

Трудно вообразить, как живут горные породы. Они лежат в темноте и мраке на глубине, допустим, двух километров. Лежат в полном молчании, сдавленные чудовищной силой собственного веса. Им некому пожаловаться на судьбу – вокруг тишина, и мрак, и жар, и только такая же молчаливая термальная вода струится по их бесчисленным порам, вымывая последние соли...

Каждый отличный студент (кембрий, ордовик, силур) должен курить папиросы (девон, карбон, пермь). Ты, Юра, мал (триас, юра, мел), погоди немного курить (палеоген, неоген, Q, то есть четвертичка).

Время, измеряемое несусветными геологическими периодами, течет и течет.

А они все лежат и лежат.

Не выдержав их косного напора, где-то подался верхний слой мантии!

Зашаталось и рухнуло все, что было выстроено сиюминутным обитателем планеты – человеком.

Тысячи и тысячи несчастий принесло их краткое движение.

А они уже и не помнят о нем. Они вздрогнули – и снова застыли.

Миллионы лет прошли, миллионы лет пройдут, а их пласты будут все так же молчаливо лежать в глубине, храня окаменелые следы бушевавшей некогда жизни. Угораздит их нелегкая оказаться в зоне геосинклинали

– они опустятся вниз и переродятся, превращаясь в новые породы, и будущий геолог будет рассматривать в микроскоп шлихи и шлифы, ломать голову, размышляя, – эк их все-таки метаморфизировало! Был известняк

- стал мрамор, был мрамор - стала брекчия... А настанет эпоха орогенеза - и они поднимутся ввысь, вздыбятся, смахнув с себя всякую временную плесень и создав горы, которым, возможно, позавидует нынешний Эверест (он же Джомолунгма)!

Примерно о таких вполне обычных вещах я размышлял, сидя в станции и следя за тем, как идет запись кривых нейтронного каротажа.

Скважина была полторакилометровая - в сущности, так себе скважинка.

Пробурили ее быстро, даже с небольшим опережением регламентного срока - вчера вечером об этом хвастал бурмастер (см.), - и теперь бригаде, перед тем как приступить к получению довольно серьезных премиальных, оставалось лишь провести завершающие работы, о которых все толковали как о деле решенном и почти сделанном. В число завершающих работ входил и полный комплекс каротажа - то есть промыслово-геофизических исследований. Для этого мы и приехали на двух машинах - подъемнике "ЗИЛ-131" и "ГАЗ-66", в будке которого располагалась станция. Мы прогнали по стволу скважины все приборы, записали все диаграммы, по которым интерпретаторы и геологи будут судить о характере слагающих разрез пород. Сейчас шла запись данных последнего метода - нейтронного.

Подъемник наматывал кабель на барабан лебедки, прибор, похожий на торпеду, скользил во мраке скважины, заполненной глинистым раствором, источник нейтронов в его головной части исправно пулял нейтроны в окружающую среду, а датчик так же исправно регистрировал возникающее гамма-излучение и передавал его характеристику вверх, где в станции сидел я, тупо глядя на ползущую ленту диаграммной бумаги и дрыгающееся по ней перо самописца.

Лента вот-вот должна была остановиться. Это означало бы, что лебедочник Витя сбавил газ,

осторожно поднял над устьем скважины прибор, с которого капает глинистый раствор, и поставил лебедку на тормоз.

Вдруг я понял, что самописец отбил ноль, но лента не остановилась!

Я вскочил, высунулся в дверь и заорал:

– Витя! Витя! Стой!!!

Должно быть, он задремал.

Так бывает.

Прибор ехал все выше и выше.

– Витя!!!

Прибор достиг колеса блок-баланса, через которое был, как и положено, перекинут кабель.

Еще через мгновение он оторвался и стал медленно падать вниз.

Я не знаю, каковы были шансы, что он попадет в скважину. Очень невысокие, должно быть.

Но он попал – вошел в нее вертикально и исчез.

Лебедка замолкла – Витя все-таки проснулся.

Мы стали молча складывать свои вещички. Нужно было собирать манатки, вытаскивать из лужи "рыбу" – кабель заземления.

Подошел бурмастер и молча постоял около скважины.

Подтянулись и помбуры (см.).

Всем все было понятно без слов.

Если бы мы уронили в скважину какой-нибудь другой из наших приборов!.. Бригада весело продолжила бы завершающие работы. Ну, скажем, если бы он ей там мешал, опустила бы в скважину инструмент, крутанула пару раз, и долото, напряженное многотонной машиной колонны, распылило бы его в мельчайшие дребезги.

Но в данном случае это было совершенно невозможно. Мы имели дело с прибором нейтронного каротажа. В нем находился источник быстрых

нейтронов. Разбуривать его запрещалось. Его следовало извлекать.

Для этого у них тоже, конечно, имелись соответствующие методы и средства, но подобное дело, как правило, затягивалось надолго. И полтора дня форы (ведь они пробурили скважину с опережением регламентного срока) выглядели смешными в сравнении с возможными просрочками. В случае которых никакие премиальные им уже не светили.

Когда наконец Юра подписал молчаливо и грозно подсунутые ему бурмастером акты, бурмастер сказал первое слово с момента падения прибора.

Он сказал:

– Да-а-а-а!..

...Назад я ехал с Витей, в подъемнике. Витя был как никогда мрачен и даже не просил спеть что-нибудь, развеять сон.

Понятно, что ему тоже грозили многочисленные неприятности. Это ведь не шутка – прибор оборвать и уронить.

Двигатель натужно гудел, свет фар то выхватывал из темноты отвесный скалистый склон, а то безоглядно летел на повороте в пропасть.

Дорога петляла серпантинном к перевалу.

Я опустил стекло, высунул голову на черный ветер и посмотрел вверх.

Над нами было сиреневое небо, украшенное алмазной россыпью звезд.

А внизу лежали пласты горных пород, и им было совершенно все равно, что мы здесь себе думаем.

Кеклик

Кеклик – это горная куропатка. Таджики (см.), равно как и другие народы Средней Азии, любят выращивать и держать их дома. Взрослый кеклик живет в просторной деревянной клетке, подвешенной на дерево неподалеку от ката – квадратного топчана, стоящего обычно во дворе и представляющего собой центр мужской жизни дома. Он важно расхаживает по ней, отчего клетка качается, а вода расплескивается из отведенного под нее черепка, и крутит головой, с необъяснимой горделивостью поглядывая на окружающее. Чем больше хозяин любит своего кеклика, тем с большим тщанием он украшает его клетку – раскрашивает, привязывает разноцветные тряпицы и перышки.

Как правило, кеклик помалкивает, но ранним утром и под вечер может порадовать хозяина своим специфическим квохтаньем – ке-ке-ке-ке-ке-ке-ке!..

Однажды Миша (см. Родословная), вернувшись с поля (см.), привез птенца горной куропатки. Его поселили в картонной коробке на окне бабушкиной кухни. Кеклик был весел, смешно щипал клювом палец, ничего не боялся, блестел пушистым оперением и обещал вырасти в большую красивую птицу.

Прокорм его представлял собой нешуточную задачу. Зеленый кеклик тоже поклевывал, но гораздо более острый интерес проявлял к насекомым – просто-таки рвал из пальцев.

Как-то раз я привез ему штук сорок сверчков, набранных под камнями во время какой-то короткой вылазки за город.

Поймав, я совал их в темную коричневую склянку с закручивающейся пластмассовой пробкой (см. Зависть)

из-под какого-то дедовского лекарства, и они там дружно шебаршили.

Скоро эти бойкие сверчки присмирели, а когда я ближе к вечеру заявился в гости к кеклику со своим угощением, уже и вовсе не подавали никаких признаков жизни.

Кеклик тоже не обратил внимания на их как минимум обморочное состояние. И быстро и весело склевал всех одного за другим.

Это было вечером.

Утром он лежал в своей коробке, распластавшись, холодный и взъерошенный.

Нужно было помыть эту чертову склянку, а потом уже приниматься за охоту. Но я не сообразил, и остатки лекарства совершенно не пошли на пользу ни сверчкам, ни самому несчастному кеклику.

Печальная история, не правда ли?

Кенкияк

Поселок К. расположен километрах в ста пятидесяти от Актюбинска.

Кругом – степь. Зимой она кое-где покрыта сухим колким снегом. Ветер рвет его из ложбин и швыряет в лицо. Эффект не хуже пескоструйки – только уворачивайся.

Весной степь зеленеет и цветет, летом сгорает, теряя свои сумасшедшие запахи. Наступишь пыльным сапогом на клочок желтой травы – из него горькая труха...

В общем, обычная степь.

Если, конечно, не считать того, что лежит она неподалеку от

Байконура, и время от времени на нее низвергаются то отброшенные ступени, то наголовья ракет. Разные по размеру – какие больше, какие меньше.

Жители довольны. Жить здесь особенно нечем, а если найдешь в степи оплавленную титановую железяку, можешь смастерить люльку для младенца или еще как приспособить в хозяйство. В степи они мне не попадались. Эти посланцы космической эры встречали меня уже во дворах, в шатких поселковых хибарах, собранных из чего попало. В одном и впрямь спал ребенок, из другого четыре смирные коричневые лошади пили мутную воду. Пьяный хозяин кое-как таскал ее мятой бадьей (тоже как бы не титановой!) из глиняного колодца.

Степь как степь.

Глядя на нее, никак не заподозришь, что в глубине лежат пласты, насыщенные вязкой нефтью, – настолько вязкой, что если ее не подогреть, то извлечь на поверхность не получится. Поэтому, в отличие от нормальных нефтяных месторождений,

представляющих собой загаженные, изрытые котлованами, разъезженные тяжелой техникой, издырявленные скважинами пустыри, Кенкиякское вдобавок опутано паутиной раскаленных до 250о С ржавых труб, по которым закачивается в пласт перегретый пар. Пар вырабатывают "балдуины" – страшно пыхтящие железные сооружения величиной с трехэтажный дом.

Когда стоишь возле одной из этих адских коммуникаций, невозможно избавиться от мысли, что если она сейчас лопнет, то судьба цыпленка табака в сравнении с твоей покажется чистой воды профанацией кулинарного искусства, нелепой попыткой зажарить несчастное пернатое на практически холодной сковороде. Однако нам нужно было делать

каротаж (см.), совать в эти гиблые скважины свои приборы, измерять температуру ствола, поэтому волей-неволей приходилось бороться с неукротимым желанием бросить аппаратуру на произвол судьбы и отбежать подальше.

Но более всего знаменит Кенкияк своими собаками. Их здесь тьма, и очень разных. Как-то раз мы с Вяловым стояли на крыльце почтового отделения, чего-то дожидаясь и, чтобы убить время, рассуждая о различных методах классификации (см.), как вдруг по неровной дороге мимо нас пробрела собачонка совершенно несуразного телосложения. В целом довольно невеликая (примерно, скажем, со спаниеля), она вышагивала на тонких лапах такой длины, что им позавидовала бы и борзая. Шла нетвердо, пошатываясь, как на ходулях.

В целом она походила на какую-то мелкую африканскую антилопу, но, в отличие от весело скачущих заморских травоядных, вид имела довольно понурый.

Вялов замолк, изумленно взял бороду в кулак, проводил несчастное животное взглядом и сказал:

– Ишь ты, какая собака!.. – Замялся, подбирая слово, и решительно заключил: – Колченогая!

Классификации

Как известно, мир цел и неделим, а мы лишь набрасываем на него сети выдуманных нами классификаций, чтобы хоть как-то в нем ориентироваться.

При этом классификации, как и все другое, тоже могут быть классифицированы по различным признакам. Приведем пример простой классификации классификаций. Вот он:

- 1) простые классификации,
- 2) сложные классификации.

Ниже приведен образец чуть более сложной классификации классификаций:

- 1) простые классификации,
- 2) чуть более сложные классификации,
- 3) сложные классификации.

Конечно же, классификации могут быть подвергнуты и гораздо более сложной классификации. (К сожалению, приведенный автором пример гораздо более сложной классификации в силу ограниченности объема настоящего издания не мог быть помещен здесь и в скором времени выйдет отдельной книгой. – Ред.)

Классификации чего бы то ни было производятся людьми для удовлетворения их собственных надобностей. Не нужно думать, что приведенная Борхесом классификация животных из некоего древнего китайского труда – 1) животные, покрытые шерстью, 2) животные из зверинца императора, 3) животные, нарисованные тонкой кисточкой на шелке, и т. д. – глупа или как минимум бесполезна. Она вовсе не глупа и совсем не бесполезна – просто-напросто нам трудно оценить ее былую насущность, поскольку мы не

можем вообразить себе те надобности, которыми былотягчен ее составитель.

Или, например, на мой взгляд, очень полезна классификация женских характеров в соответствии с видами цветов – розами, фиалками, одуванчиками, насекомоядными (см.) и другими.

Сами по себе классификации не могут быть ни плохими, ни хорошими.

Классификация хороша, если отвечает поставленным задачам.

Одна хромая женщина в красном шерстяном платке из города

Борисоглебска подразделяла грибы на собственно грибы (по общепризнанной классификации к ним относились белые и подосиновики), свиные грибы (это были грибы, съедобные, на ее взгляд, только в голодный год, – березовые, сыроежки, грузди и прочие валуи), поганые грибы (которые даже в голодный год есть нельзя – то есть шампиньоны, вешенки, бледные поганки, мухоморы и проч.) и грибы, из которых дед

Пахом на майские жареху делал.

Подход этой женщины отвечал ее потребностям. Он не более удивителен

(уж не говоря о его безобидности), чем известное нацистское подразделение человечества на 1) евреев (см.), 2) цыган, 3) славян и 4) всех прочих.

Лично я пользуюсь, как правило, классификацией, разработанной отечественным почтовым ведомством примерно в пятидесятых годах прошлого (XX) столетия. Эта классификация была написана синими эмалевыми буквами (см.) на белом эмалированном железном щите, висевшем в стенах захудалого почтового отделения в поселке Кенкияк

(см.). Я прочел ее, невольно восхитился и с тех пор с успехом применяю вслед за почтовыми чиновниками. Эта классификация чрезвычайно рациональна, в

высшей степени лаконична и способна принести неоценимую пользу всякому, кто употребит ее в дело.

Вот эта универсальная классификация всего сущего:

1. Делимые грузы.
2. Неделимые грузы.
3. Живые пчелы.

Клички

Клички тоже эволюционируют – как правило, от чего-то сложного к более простому.

В соседнем дворе жил Вова Пантелеев, любивший возиться с радиоаппаратурой. За ум и многознание его уважительно прозвали

Склифосовским, и никому не приходило в голову задуматься над осмысленностью этого прозвища. С течением времени Вова стал несколько заумно зваться Склипа-Цопой, затем по созвучию превратился в Хлеб-Соль и в конце концов получил простую и ясную кличку Бублик.

Володе Пацуку при начале эволюционного процесса навесили Лупандрика

(пробовали было Сухого, но как-то не прижилось), затем Лупала и только после этого стали звать Лукичом (см.) – и уж это прилипло крепче имени.

Что касается собачьих кличек, то как-то раз на одной старой подмосковной даче, копаясь в старых журналах и прочей макулатуре, сваленной в углу веранды и назначенной к сожжению, я наткнулся на книгу "Собаководство" 1949 года издания.

Ничего интересного, то есть отличного от других книг по собаководству, в ней не обнаружилось, если не считать замечания на одной из первых страниц, в главке, посвященной проблеме выбора собачьей клички.

Там было сказано буквально следующее:

"Не следует называть собак человеческими именами, как, например,

Васька, Роберт, Мухтар и другими. Лучше выбрать кличку из тех, которые не имеют прямого отношения к людям, – Джим, Билл, Кэтти,

Джон и тому подобных".

Клэм-чауда

Мы стояли на борту большого катера, мотавшегося на пятибалльной волне милях в четырех от берега в беспокойной зеленовато-серой субстанции, похожей на голубичный кисель. Уже в нескольких метрах от суденышка одну стихию нельзя было отличить от другой, поскольку воздуха как такового не существовало. Взамен него предлагалась все та же вода, только чуть менее концентрированная. Снизу ее взметали гребни волн. Ветер срывал с них белые верхушки и некоторое время нес в виде чего-то вроде соленой картечи, чтобы затем смачно шваркнуть о первую попавшуюся физиономию. А сверху она беспрестанно валилась сумасшедшим ливнем, с остервенелой веселостью барабанившим по клеенке выданных нам зюйдвесток.

– Attention! – заревел динамик над рубкой. – Watch! Right! Two hundred meters!^1

Мы гурьбой повалили на правый борт, и лично я успел увидеть примерно полтора квадратных метра лоснящейся шкуры, которая, если верить обещаниям, полученным при начале экспедиции, принадлежала киту.

Собственно говоря, это развлечение так и называлось – whale watching^2, – и стоило по десятке сыра, что выходило, если учесть количество воды, выпадавшей на долю каждого участника, совсем не дорого.

– Самое время отведать клэм-чауды! – громыхал Дик Даглас (см.), когда мы, широко расставляя ноги в насквозь мокрых штанах, ковыляли по сходням на берег. – Не правда ли? Я давно обещал вам, да все как-

то руки не доходили! Но сейчас мы на побережье Тихого океана!

Здесь в каждой дыре варят клэм-чауду! Вот что нужно настоящим морским волкам, сошедшим на берег после славного путешествия! Не пройдет и пяти минут, как мы будем блаженствовать возле огромной кастрюли этого чуда – огнедышащей клэм-чауды! Взбодритесь!

Призывно маша рукой, Дик надвинул капюшон поглубже и устремился куда-то вглубь мокрой и холодной суши, с непривычки ощутимо гулявшей под ногами.

Первые три ресторанчика близ пристани оказались закрыты.

– Что вы хотите! – подбадривал нас Дик. – Март – это не сезон!

В конце апреля тут уже яблоку негде упасть! Вперед!

Еще две забегаловки, расположенные в некоторой глубине этого курортного городишки, функционировали, но клэм-чаудой порадовать не смогли. Оба раза, коротко переговорив с официантом и насупившись,

Дик снова призывно махал рукой и смело выступал под нестихающий ливень.

Третий ресторан тоже был закрыт. Четвертый работал, но клэм-чаудой там и не пахло.

Дождь хлестал не переставая, и я надеялся, что в скором времени Дик почувствует первые симптомы двустороннего воспаления легких, в результате чего появится наконец возможность хотя бы недолго посидеть в тепле и сухости. Этого, однако, не случилось, и мы прочесали городок по второй диагонали.

– Все, – обессиленно сказал Дик Даглас, когда официант последнего на нашем пути заведения развел руками. – Они с ума сошли!.. Нет, это не штат

Вашингтон, ребята, так я вам скажу. Это просто мираж.
В штате

Вашингтон всегда можно было поесть старой
доброй клэм-чауды!..

Садитесь. Передохнем.

Скоро нам принесли жареную рыбу с картошкой и
херес.

Мы дружно навалились на еду.

Дик, понятное дело, за нами не поспевал. Нет, он
тоже мощно жевал суховатую треску, запивал ее
отчетливо кислившим калифорнийским хересом, но все
же не мог есть так же быстро, как мы.

Потому что мы только слушали, а ему приходилось
говорить. При этом он был как никогда красноречив.
Ему не хотелось упустить ни одной даже самой
незначительной краски из той роскошной палитры, с
помощью которой только и можно описать, как именно,
в каких скалах, какого вида и размера моллюсков
нужно собрать, какими специями и травами запастись,
каким терпением вооружиться, чтобы наконец сварить
этот восхитительный!.. неописуемый!.. волшебный!.. ну
просто необыкновенно вкусный суп! – клэм-чауду!..

Кофе

Что касается меня самого, то я пью чай (см.). На это есть три причины. Во-первых, по совершенно справедливому утверждению Вялова

(см. Кенкиак), только чай мирит нас с жизнью. Во-вторых, вкус кофе мне не очень нравится. И в-третьих, то волшебное состояние оживления и бодрости, которое якобы должно охватывать человека после принятия чашки-другой этого напитка, я испытывал только в Замке (см.), во всех же прочих случаях меня охватывали неприятная сонливость и лень.

Возможно, в этом виноват не кофе, а мое собственное устройство. Не знаю.

Так или иначе, в отличие от меня, значительная часть, если не большинство народонаселения планеты, с восторгом пьет не чай, а именно кофе (см., например, Специализация). Естественно, что разговор о сортах кофе, видах его помола и способах приготовления с целью достижения наиболее божественного вкуса, запаха и бодрящести занимает довольно значительную часть их жизни. Во всяком случае, если собрать все то, что довелось мне услышать об этих самых способах, сортах и видах, получится целая книжица (см. Вещи), каждая страница которой будет настаивать на некоторых особенностях процесса, столь же важных на взгляд любителя кофе, сколь и неуловимых с точки зрения человека, пьющего чай.

Все это не имеет отношения к истинному положению вещей.

В действительности же истинное положение вещей таково.

Я приехал в Берлин и пришел в гости к одному художнику (см.). Он давно эмигрировал, на Западе

завоевал скорый, но тем не менее прочный успех, стал богат, жил в роскошном пентхаусе на крыше небоскреба.

Он решил угостить меня кофе.

Я отпил – вкус и впрямь оказался восхитительным.

Говорить нам особенно было не о чем, поскольку мое посещение являлось визитом скорее вежливости, нежели дружбы, поэтому нашлась минута побеседовать о способах приготовления.

– Покупаешь в зернах? – спросил я, на всякий случай усиленно чмокая.

– Зачем? – Он пожал плечами. – Еще молоть...

– Специальный способ заварки, наверное... – понимающе протянул я, отпив еще немного.

– Глупости. Сыплю чайную ложку в чашку и заливаю кипятком.

– Подожди! – сказал я. – Это же не растворимый кофе?

– Еще чего, растворимый!.. – буркнул он. – Я не пью растворимый. Но этот и так отлично заваривается.

– А как же всякие там поддоны с раскаленным песком и... что там еще?.. холодная вода?

Он отмахнулся.

– Говорю же: заливаю кипятком – и вся недолга.

– Может быть, кофе какой-то особенный? – догадался я.

– Не знаю. Кофе как кофе.

– Я бы купил в Москву килограммчик...

– Сейчас сходим, – пообещал он.

Когда я собрался восвояси, он и впрямь пошел со мной.

Магазин был как магазин. Сто раз я бывал в таких магазинах.

Бесконечные ряды банок с надписями и ценниками. Ценники примерно одинаковые. От, скажем, тридцати марок за килограмм до, скажем, пятидесяти. То есть

нормальные цены. Не очень дешево, конечно. Но, с другой стороны, если уж ты такой оголтелый любитель кофе, можешь себе позволить.

– Вон, – показал он пальцем куда-то в угол. – Я вон тот всегда беру.

Который справа.

Я задрал голову.

Действительно, в углу стояли две банки. На одной ценник указывал, что килограмм кофе из нее стоит 210 марок. На другой – 240.

– За двести десять? – робко поинтересовался я.

– Нет, – хмуро ответил он. – Говорю же: справа.

Ковры

Я неоднократно говорил, что самые безобидные на первый взгляд вещи способны поставить человека буквально на грань умопомешательства.

Так, например, в повести "Кудыч" эта мысль развита применительно к арбузам.

Или взять хотя бы те же ковры. Что в них плохого? Лежат себе на полу, есть не просят, заботы никакой не требуют. Ну разве что раз в год побить палкой. Дело неприятное, конечно, но терпимое.

Но вот известна мне история одной семьи, владевшей именно таким безобидным на первый взгляд ковром. Правда, в силу некоторых привычек или убеждений они предпочитали держать его повешенным на стену. При этом муж частенько уезжал в командировки, а жена в его отсутствие переставляла мебель. То ли скучно ей становилось, то ли, напротив, слишком весело. Так или иначе, вернувшись, муж обнаруживал, что в процессе перестановки у шкафчика отломилась ножка, а у дивана – спинка. Но с починкой мебели он справлялся легко и жену за этот пустячный ущерб почти совсем не корил.

Другое дело – ковер.

Ковер ему нужно было перевешивать, для чего приходилось сверлить дырки в стенах.

А жили они в одном из многочисленных панельных домов города

Грозного, в ту пору еще присутствовавшего не только виртуально – в виде кружков на разнообразных картах, – но и в реальности. И панельные дома строили там, как и везде, из бетонных плит, представляющих собой затвердевшую смесь мелкой гальки с цементом.

И все бы ничего, да только галька, шедшая на изготовление бетонных плит в городе Грозном, была очень твердой. Это была галька из

роговой обманки (см.) или того пуще – габбровая.

Возможно, для создания бетонных плит такая галька подходит как нельзя лучше. Однако для сверления дырок она совершенно никуда не годится. Сверло ее не берет, только раскаляется добела, да и шлямбуром с минералогическими свойствами такой гальки тоже не больно-то поспоришь.

Однако квартира, к счастью, была довольно тесной, и с течением времени мучения мужа кончились: жена совершила полный круг, испробовав все мыслимые варианты каждого положения, а он соответственно сделал в стенах столько дырок, что отныне никакое перемещение чего бы то ни было не грозило необходимостью сверления новых.

И опять же, все было бы хорошо, да только благосостояние этой простой советской семьи неуклонно росло, и в один прекрасный день жена, взяв небольшую ссуду в кассе взаимопомощи и заняв с вечера очередь в Грозненском ГУМе, где, по агентурным сведениям, утром должны были выбросить ковры, сумела отхватить еще один. Который, разумеется, отличался размерами от первого, потому что советская жизнь хоть и походила на армейские лагеря, но все-таки не в такой степени, чтобы все ковры были одинаковы. Что в данном случае, увы, может вызвать только сожаление.

Когда несчастный муж за шестой кружкой пива под соленую сушку

(см. Грузины) рассказал о случившемся нечаянному собутыльнику, тот, потрясенный масштабом его бедствия, сказал:

– Да ты ее убей! Тебя же любой суд оправдает!..

Концентрация мысли

Общеизвестно, что человек может сконцентрировать мысль в такой степени, что она переходит в разряд физических явлений. С помощью такой сжатой до отвердения мысли люди двигают взглядом спички или комки бумаги. Не исключено, что при усилении концентрации мысль способна проявить и большие физические возможности – например, поднять вязанку дров (см.).

Однако в обыденности почти невозможно отыскать минуту, чтобы как следует сконцентрироваться.

Например, однажды утром я, опаздывая на работу, спешил к станции метро "Улица 1905 года", недалеко от которой жил в ту пору.

В центральном отсеке моего мозга происходило активное осмысление появившейся несколько минут назад в автобусе идеи, касавшейся переделки давно начатого и никак не желавшего приплыть к гармоничному окончанию рассказа. Переделка сулила удачу (так по крайней мере казалось в ту минуту), и поэтому все вокруг нее кипело и волновалось.

Тем временем в боковом боксе поспешно разворачивалось весьма экономное алгоритмическое решение одной довольно запутанной программистской задачи. Возня с ней длилась уже не первую неделю, и появившаяся перспектива скорой развязки тоже волновала и будоражила.

Оба эти процесса занятно перекликались и подсвечивали друг друга.

Я миновал стеклянные двери метрополитена и торопливо направился к пожилой женщине-контролеру, которой следовало предъявить проездной билет.

В этот момент в самом нижнем ярусе моего рассудка, в каком-то темном подполе, отвечавшем за элементарное здравомыслие, ответственное, в свою очередь, за то, чтобы я переходил улицу в положенном месте, не попадал под грузовики и не сталкивался со спешащими навстречу прохожими, появилось сомнение насчет того, не захлопнул ли я дверь своей комнаты, оставив ключ на тумбочке.

Я сунул руку в карман. Ключ был на месте.

На лице женщины-контролерши я успел заметить как раз то выражение, о котором мне, в силу необходимости заниматься одновременно сразу несколькими делами, оставалось только мечтать. Женщина выглядела чрезвычайно сконцентрированной. Она смотрела перед собой сощутив глаза, и каждый отдельный представитель той бесконечной пестрой толпы, что непрестанно махала перед ней своими проездными, отпечатывался в ее зрачках резкой, контрастной и проверенной тенью.

Мыслью этой женщины, сконцентрированной если не до железного, то как минимум до деревянного состояния, можно было ворочать бетонные плиты, а не то что уж какие-то там жалкие вязанки дров.

Я вынул руку из кармана и, как всегда прежде протягивал предъявляемую картонку проездного, сунул ей под нос свои ключи.

– Это что? – тупо спросила женщина.

– Проездной, – механически ответил я, начиная понимать, что происходит нечто экстраординарное.

– Проходите! – гаркнула она и резко махнула рукой, отсекая мне путь на поверхность земли.

Кукольный театр

Из Алахадзе (см. Абхазия) мы почти без приключений перебрались в Тбилиси.

Кто не бывал в Тбилиси, тому глупо пытаться рассказывать, что это за город.

Мы таскались по нему из конца в конец. Вечером – совершенно одурелые, с гудящими, как телеграфные столбы, ногами – заваливались домой, в смешную армянскую семью, которая нас радушно принимала.

Как-то раз мы наткнулись на кукольный театр. Он располагался в стандартной панельной постройке. Скромное крыльцо вело к давно не крашенным дверям.

– О! – сказал Слава, сняв очки и поедая близоруким взглядом синюю вывеску. – Кукольный театр! Великий кукольный театр Резо Габриадзе!

– Да? – усомнился я, тщетно пытаюсь понять написанную по-грузински афишу. – А что же он такой обшарпанный?

– Обшарпанный не обшарпанный, а билеты тут на сто лет вперед иностранцам проданы, – задумчиво пробормотал Слава.

– Тем более. Идем?

– Подожди. Знаешь, я думаю, что большие русские писатели... как, так сказать, крупные явления русской культуры...

Я приосанился.

– ...должны иметь здесь некоторые преференции, – продолжал он, кивая в такт своим словам с печальным и умудренным видом. – Я не хочу тебе льстить, но кто, как не они...

– Да ладно, – грубовато оборвал его я. – Пошли, как-нибудь договоримся.

Слава нацепил очки, и мы вошли в дверь.

Директор оказался очень милым человеком.

– Здравствуйте, – сказал я ему. – Видите ли, мы приехали из Москвы.

Много слышали о вашем театре. И, видите ли, я – писатель...

– О! – сказал он и недоверчиво сощурился.

– Да, да, – потупился я. – Правда. У меня две публикации в "Новом мире". И в других изданиях тоже есть...

Директор с восхищенным недоверием покачал головой.

Я приободрился:

– Дело в том, что мы хотели бы посмотреть какой-нибудь ваш спектакль!

Он, словно не веря своим ушам, изумленно перевел взгляд с меня на

Славу. Потом снова на меня. Потом спросил:

– Завтра пойдете?

– Конечно! – ответили мы хором.

Директор взял телефон, набрал номер и произнес что-то по-грузински.

– Пройдите в кассу, – любезно сказал он, кладя трубку.

Кассирша молча выдала два билета. Стоили они совсем недорого.

Слава, естественно, тут же ими завладел.

– Ого! – восхищенно сказал он, прочитав синие штемпели. – Девять утра! Ты смотри, а! В три смены работают!..

Назавтра мы поднялись ни свет ни заря и без четверти девять, позевывая и ежась, взошли по ступеням театра.

Первое, что меня насторожило, – это обилие детей если не грудного, то ясельного возраста, уютно расположившихся на руках у мам и бабушек. Те, что постарше – а именно они составляли подавляющее

большинство публики, – пришли самостоятельно. В зале стоял дикий галдеж.

– Странно, – сказал я, озираясь.

– Ничего странного, – заметил Слава. – Это же не Подольск тебе какой-нибудь. Тут культуру не расслаивают.

И посмотрел на меня вызывающе.

Свет погас. Начался спектакль.

Несмотря на непреодолимую высоту языкового барьера, скоро я понял, что нынче дают "Волшебную лампу Аладдина". Джинн был сделан из красной тряпки, выскакивал всегда очень неожиданно и ревел как резаный. Дети визжали. Нескольких маленьких пришлось унести.

– Ну как? – спросил я.

– М-м-м... – ответил Слава не очень уверенно. – Ну что ж...

Экспрессия...

Мы ушли, недосидев и до середины. У меня остался неприятный осадок.

"Что ж такое, черт возьми, – думал я. – Вот оно – внутреннее несовершенство. Тянешься к прекрасному – а взять не можешь... видит око, да зуб неймет... Надо же все-таки как-то это... ведь и в самом деле не Подольск!.."

Слава тоже выглядел довольно хмурым.

Мы провели в Тбилиси семь или восемь дней. Казалось бы, исходили все вдоль и поперек. И вот нба тебе – буквально накануне отъезда нашли самую сердцевину города, самое сладкое, самое медовое ядро, сгустившееся несколькими кварталами возле старого парка и загадочным образом прятавшееся от нас все это время.

Именно там мы обнаружили настоящий театр Резо Габриадзе. Он располагался в причудливом здании,

окруженном цветущими деревьями, скульптурами и иностранцами.

- Ну что, - саркастически спросил я, когда мы обошли вокруг. - Мне опять идти рассказывать про "Новый мир" и другие издания?

Слава только махнул рукой.

Уж не знаю, что он хотел этим жестом выразить.

Лагман

Сафонов проспал и перевал, и весь бысролетный спуск и очнулся только в Дангаре, когда машина остановилась, норовя вжаться в куцую тень у дверей столовой. Коваль хлопнул дверцей и стал, кряхтя и выпячивая брюхо, потягиваться и так и этак, разминая приморившееся от долгой шоферской работы тело. Вылезла и повариха (см. Поле)

Валентина Аркадьевна. Она охала, страдальчески морщилась и вздыхала, а на голове у нее зачем-то была соломенная шляпка с бумажной розочкой. Вообще, я еще утром обратил внимание, что ее внешность разительно отличается от привычного мне облика отчаянных экспедиционных поварих.

Сафонов потер лицо ладонями, после чего взгляд его приобрел осмысленность, сел, промычал что-то неразборчивое, потом заключил:

– Дангара.

И спрыгнул на землю.

Было три часа дня, воздух звенел от зноя.

В чайхане по крайней мере не было солнца. Правда, его с лихвой возмещали духота и полчища мух. Коваль поручил мне гонять их, а сам направился напрямиком на кухню – было слышно, как он там по-хозяйски с кем-то здоровается. Скоро он принес два чайника и пиалушки.

Дуя в пиалу, Валентина Аркадьевна невольно постанывала.

– Эта ужасная жара, – жаловалась она. – Я два раза принимала сердечное...

– Ничего, скоро приедем, – отозвался Сафонов. – Вот пообедаем,

Коваль вам водички свеженькой нальет на дорожку.

Когда напились чаю, на столе появились глубокие чашки-касы с огнедышащим лагманом³.

Коваль сделал спину горбом, прочно упер в стол оба локтя; в левой руке он сжимал половину лепешки, правой совершал необходимые движения ложкой; беспрестанно сербал, хлюпал, отдувался; проглотив, еще круче набычивался, чтобы, вцепившись зубами, оторвать кусок хлеба. При этом успевал еще кое-что говорить.

– Лагман, – невнятно сказал он, обращаясь к Клавдии Петровне, которая в пятый или шестой раз протирала носовым платком алюминиевую ложку, после чего, как следует в нее внюхавшись, снова начинала протирать. – Лагман! Самая еда, чтобы похавать.

Запястье мощной руки Ковалья было в ширину ладони – волосатое и бугристое.

– Жаль только, голова от него потом чешется, – добавил он. – А так – ничего.

Валентина Аркадьевна долго вдумывалась в смысл его фразы, затем начала все же осторожно хлебать.

Я прыснул.

– Шутник ты, Коваль, – сказал Сафонов, вытирая пот со лба. – Даже дети над тобой смеются... Пореже метал бы. Ты что как в голодный год...

– Ешь – потей, – ответил Коваль, с хлюпаньем втягивая в себя длиннейшую лагманову макаронину. – Работай – мерзни.

Сафонов хмыкнул.

– Да ты не больно-то и потеешь, – заметил он. – Что-то у тебя в организме не то, Коваль. Реакции нет.

– А у тебя есть, что ли? – насторожился было Коваль, но махнул рукой и снова стал с бульдожьей хваткой рвать лепешку.

– Конечно. Холодно – дрожу, жарко – потею. Вон, видишь, весь мокрый.

Реакция организма, – ответил Сафонов, пожав плечами.

– Да ладно! – недовольно буркнул Коваль. – Какая реакция, когда хаваешь!..

Было слышно, как жужжат и позванивают о стекла мухи.

– Ой! – воскликнула вдруг Валентина Аркадьевна, выпрямляясь и со звоном бросая ложку на стол. – Чешется! Правда – чешется!..

Никто не ответил.

Валентина Аркадьевна помолчала, прислушиваясь к себе.

– Может быть, это от лука? – спросила она в сторону.
– Из чего этот лагман-то?

Сафонов пожал плечами, а потом посмотрел на нее пронзительно.

– Трудно сказать, – ответил он, опуская взгляд. – Можно у чайханщика рецепт спросить.

– Ой, хорошо бы! – оживилась Валентина Аркадьевна. – Я собираю рецепты!..

Сафонов достал сигареты из кармана рубашки.

– Да-а-а, – неопределенно протянул он. И вздохнул: – Повезло нам, значит, с поварихой...

Локайцы

Мой отец (см. Родословная) был геологом.

Однажды в поле (см.), отрабатывая маршрут по выгорелым склонам

Бабатага, он встретил чабана- таджика (см.) и спросил у него, где можно набрать фисташки покрупнее.

Чабан задумался.

Он стоял, как всегда стоят чабаны, держа руки на палке поперек поясицы, и покачивался с пятки на носок. Он был бос, задубелые подошвы его пыльных ног не боялись колючек. Холщовые штаны и тонкий рваный чапан составляли его одеяние. Волосы сроду не знали расчески, ладони – мыла.

– Тот сай⁴ пойдешь, – сказал он и махнул палкой, указывая направление. – Потом направо сай пойдешь. Там хороший дерево. Много.

Такой крупный.

И показал, какая крупная там фисташка – с фалангу черного пальца.

– Где направо? – уточнил отец.

– А, увидишь. Ну, как локай пройдешь, – пустился он в объяснения. -

Ну, там один локай живет... локай знаешь? Такой грязный-грязный, – брезгливо сказал чабан. – Грязный-грязный, – повторил он, помедлил и заключил: – Честное слово, хуже русского (см.).

Снова сунул палку за спину, повесил на нее руки и побрел к овцам.

Лукич

Лукич (см. Клички) собирался ехать поездом из Душанбе в Самарканд.

Время было беспокойное – 90-й год. Поговаривали, что на железной дороге – грабежи и разбой.

Лукич все-таки поехал.

Мы с ним встретились после его возвращения.

– Как съездил? – спросил я.

– Да как тебе сказать... Хреновато, конечно. Поезд вечером уходил. Я на верхней полке ехал. Постель разобрал, завалился. Хоть, думаю, выплюсь как следует. Деньги под подушку. На всякий случай. Теперь ведь разное бывает...

Я кивнул:

– Ну?

– Ну и просыпаюсь ночью от страшного удара по голове!

Я содрогнулся:

– Бандиты?!

– Нет, – ответил он со вздохом. – Понимаешь, упал с полки – и башкой о столик.

Малина

Было жарко, душно, сухой лес – куда ни глянь – серебрился паутиной, хвоя похрустывала под ногами. Мне нравилась совсем другая девушка, а то, что я оказался в лесу именно с этой, сложилось из нескольких случайностей. Она тоже была очень мила и красива. Но увлечения я не чувствовал. Как ни мила девушка, все равно притягательной она становится только в самом фокусе увеличительного стекла твоего собственного увлечения. Увлечение – это и есть увеличение. Я должен был поспеть на электричку в шестнадцать сорок четыре. Наверное, именно это мешало фокусировке. Любовь не расцветала, осознавая, сколь мизерный срок ей отпущен. Даже мотылек не успел бы распалиться, если бы знал, что в шестнадцать сорок четыре электричка закроет двери. Девушка смеялась и немножко кокетничала – но, кажется, тоже просто чтобы проверить, не затупились ли ее острия. Я слышал, что у нее был парень и они собирались вскоре пожениться. Но моя холодность все равно ее несколько озадачила, а то и расстроила.

Может быть, она считала, что краткость оставшегося до электрички времени не может быть оправданием моего равнодушия. Возможно, напротив, она полагала, что времени вполне достаточно – во всяком случае, для того, чтобы в шестнадцать сорок четыре я отбыл, распираемый если не блаженными воспоминаниями, то по крайней мере горестными сожалениями о столь скоро наступившей разлуке.

Цепляясь корзинками за сучки и ветки, мы наконец продрались сквозь ельник.

– Деревня какая-то, – сказала она, озираясь. – А там что?

– Не знаю, – хмуро ответил я. – У меня скоро электричка.

Она закинула руки, выдернула заколки, по-собачьи помотала головой, отчего светлые волосы рассыпались по плечам, и спросила с легким вызовом:

– Ну? Пошли, что ли?

– Понимаешь, у меня электричка в шестнадцать сорок четыре, – объяснил я. – Иди вон по той тропинке. Если встретишь кого-нибудь из наших...

– А в Купавне недавно тоже девушка одна пошла, – сказала она мстительно. – Так ее сначала изнасиловали, а потом убили.

– Ничего себе, – сказал я. – Вот тебе и погуляла. Ну, я пошел.

Она оглянулась. Похоже, оставаться одной ей и в самом деле не хотелось. Но и уступать она не собиралась.

– Давай хотя бы нарвем малины, – предложила она.

Метрах в сорока от нас вдоль плетня действительно росла ухоженная малина. Даже с дороги были видны крупные ягоды.

– Это чужая малина, – попытался я ее урезонить. – Ее кто-то вырастил. Не для баловства. Может быть, на продажу. И если мы...

– Подумаешь! – фыркнула она. – И горсточку нельзя, что ли?

По тому, каким взглядом она меня окинула и с какой решительностью двинулась к плетню, я понял, что спорить бесполезно, – она полагает мое участие в намеченном предприятии той минимальной жертвой ее красоте, которая должна быть принесена, дабы земля и небо не поменялись местами.

Мельком оглянувшись, чтобы убедиться, что я нехотя плетусь следом, она сказала примирительно:

– Смотри, какая крупная. Ой, а сладкая!

Ловко обирая куст и одну за другой отправляя ягоды то в рот, то в сложенную корабликом ладошку, она улыбалась с той смиренностью, что одна могла подчеркнуть ее правоту: видишь, глупый, ничего страшного,

– а ты боялся.

– Правда, прелесть? – лепетала девушка. – Если бы я была художницей, я бы нарисовала эти ягоды. Ну чего ты молчишь? Ты обиделся?

– Хозяин идет, – сказал я, глядя в сторону дома.

Старик спустился с крыльца и, воздев клюку, торопливо ковылял в нашу сторону. По мере приближения его хриплый ор начинал распадаться на отдельные слова.

– Что он говорит? – ужаснулась девушка.

То, что он говорил, затруднительно было бы даже просто повторить, а уж не то что передать на бумаге. Владелец малины был очень подробен.

Главным объектом его энергичных высказываний являлась девушка. В его речи она фигурировала как в целом, так и отдельными частями. Кроме того, он перечислил ее многочисленную родню, а также целый ряд самых разнородных предметов обихода, которые, по его словам, он собирался сопрячь с моей спутницей самым противоестественным и жестоким образом. В ряду прочих мне почему-то запомнилось полено. Я сразу заподозрил, что этот прямой старик в свое время дослужился до боцмана.

Когда он добрался до плетня и в бессильной ярости сделал выпад палкой между двумя жердинами, мы уже улепетывали.

– Это ты виноват! – сказала она, когда уже ничего не было слышно. –

Ты меня не защитил!

– Я?! За каким чертом ты стала рвать эту малину?! И что я мог сделать?

– Ах, что ты мог сделать?! – переспросила она.

И напыщенно заявила, что человека можно убить и словом.

Конечно, я мог бы ей ответить в том духе, что, мол, если она себя имеет в виду, то мне такое слово тоже неизвестно...

Но я опаздывал на электричку.

Поэтому только махнул рукой и пошагал к станции.

Мац

Здравомыслие диктует стремление к максимальной выгоде, доброта же приводит, как правило, к материальным потерям. Далеко не все способны примирить это роковое противоречие между ними.

Именно поэтому добряк Мац является человеком совершенно нездравомыслящим.

Однажды он позвонил мне. Я взял трубку:

– Алло!

– Ты меня понимаешь? – вяло спросил он.

– Что я должен понять?

– Вообще, – сказал он.

Я вспыхнул:

– Значит, понимаешь, – заключил он. – Просто мне кажется, что время очень сильно замедлилось. От одного до другого столба я иду не меньше получаса.

– Не знаю, – сказал я. – У меня со временем все в порядке.

Согласись, ведь у нас одно время? Может быть, ты просто сильно уменьшился? Потому и ходить стал медленно?

Мац хихикнул:

– Нет, рост-то у меня нормальный... – И, помявшись, признался: –

Я все-таки купил анаши.

Я молчал.

– И теперь мне кажется, что меня никто не понимает. Это так ужасно,

– пожаловался Мац. – Я ее высыпал в унитаз.

Дня через четыре он позвонил снова.

– Ну как? – спросил я. – Прочухался?

– Ужас, – сказал он. – Чтоб я еще когда-нибудь!.. Между прочим, до сих пор сказывается...

– Да? – удивился я. – Чем же?

– Я стал говорить правду, – признался он. – Не знаю, что и делать!..

Потом он погрузился в дела, связанные с разменом каких-то квартир и комнат, и я его долго не видел.

Зато при встрече он довольно грустно сообщил:

– Оказывается, душа перемещается в пространстве с максимальной скоростью, равной скорости бега лошади.

– С чего ты взял?

– С того, что если мы едем на машине, скорость перемещения души составляет меньшую величину, чем скорость перемещения машины, – сказал он. – И она отстает.

Мы ехали именно что на машине.

– Ну понятно, – вздохнул я.

– Ты не смейся! – сказал он. – Душа точно отстает. Конечно, потом она догоняет. Но только если знает, где ты есть. А я за последние два месяца три раза переезжал. Менял, то есть, место жительства. Ну и вообрази. Погрузил я пожитки в "Газель" – и уехал. Она – за мной.

Догнать не может. Что делать? Потопталась – и назад поплелась, к дому. Но оттуда-то я насовсем выбыл! А нового адреса она не знает! И так три раза!

Он повернул ко мне голову, несмотря на то что мы пребывали в состоянии обгона какого-то иного транспортного средства, и мрачно спросил:

– И куда ей теперь?

– Не знаю, – ответил я.

– Вот и я не знаю, – вздохнул Мац.

Мельгано

Ежась и позевывая, я вышел за ним на крыльцо.

Накануне мы как следует поизучали анатомию свиньи (см.) на примере запеченного окорока, обильно запиваемого вином (см.) из черноплодной рябины.

Утро было тихим, холодным, туманным, пахучим. Солнце проглядывало серебряной монеткой. На позолоченной крыше соседского сарая лежали сухие листья.

– Ничего, вот сейчас солнышко выйдет, – ворковал Женя, задирая голову и с удовольствием разглядывая ветви, усыпанные яблоками. Он был в стоптанных башмаках на босу ногу. – Выйдет солнышко, потеплеет... ты сколько коробок-то взял?

– Две, – сказал я.

– Две! – воскликнул он так, будто я ответил на вопрос, сколько ног мне отрезало трамваем, и застонал, заныл, хватаясь за голову: – Ты что! Я же говорил: антоновка! Антоновка! Ну ты посмотри! Усыпная!

Это же бедствие, бедствие. А ты – две коробки! Да что такое две коробки?!

– Еще сумка, – попытался я его успокоить.

– Сумка! Курам на смех. Еще скажи – кошелек. Тут их тонны, тонны!

Пропадают. А смотри какие. Смотри!

Женя обвел рукой весь влажный ажурный космос, в котором бесчисленно сияли янтарные и розовые солнца, и снова заворковал, заворковал, подолгу перетаптываясь в мокрой траве под одним деревом, чтобы потом шагнуть к другому и продолжить свое сладкое воркование.

– Смотри! Антоновка! Ты видишь? Это яблоки? Это мед, а не яблоки.

Это золото, а не яблоки. Просвечивают. Вон то яблочко видишь? Вон то... ага... видишь, как просвечивает? Антоновочка. Целебные яблочки. А лежкие, лежкие, господи!.. Их аккуратненько прямо с деревца... каждое в бумажечку... чтобы не ударить... не ушибить... боже сохрани! Зимой коробочку из подвала принесешь, раскроешь – ба-а-а-атюшки!.. Я, бывает, только понюхаю, как тут же парочку с наслаждением и съем!..

Он поднялся на цыпочки, дотянулся носом до большого кривобокого яблока и, зажмурясь, потянул воздух.

– А-а-а-а-ах!.. Ты понюхай, понюхай! Это тебе не шанель номер пять!

Что ты! Кишка тонка у твоей шанели!.. Бочок-то, бочок! Загляденье!

Смотри: аж в красноту его кинуло... ах ты, господи! А ты говоришь – две коробки.

Послышался шорох, потом удар, отозвавшийся в ясном холодном воздухе долгим-долгим звоном.

– Падают, – констатировал Женя, когда погас последний отголосок. Он сделал несколько медленных шагов. – Это коричные падают. Вот они.

Яблочки помельче – и роса на них помельче. Яблочко крупней – и роса наливная. Ты понюхай, понюхай. А? Коричные. Старое дерево. Уж я и не помню, откуда взялось. Варенье из них – о-о-о, это не варенье, это амброзия. Пополам с нектаром. Это, брат, не варенье из этих яблок, это...

Он бессильно махнул рукой и сделал еще два шага.

– А это мельгано. У-у-у! Это замечательное у меня деревце.

Смотри-ка! Смотри! Прямо так и просятся в руки! Ты потрогай, потрогай! Камни! Ну просто камни! Это зимний сорт, поздний... его уж и морозцем подчас прихватит – а ничего. Только слаще. Замечательное

деревце. Обрати внимание – ствол тонкий, а крепость в нем какая: вон сколько ветвей держит, сколько яблок!.. Две коробки! Тут одного мельгано полторы тонны!.. Замечательное дерево. Саженец мне когда-то

Николай Гаврилович Самолетов дал... сосед. На, говорит, Женя, посади. Хороший был старик. Я думаю: куда мне, к черту, его саженец?

– плюнуть некуда, а тут еще он свои дички навяливает. Спасибо, говорю, Николай Гаврилович. Ты понюхай, понюхай. Вот тебе и дички.

Замечательный старик. А?

Снова прошуршало, и снова послышался стук упавшего яблока. Как и в первый раз, Женя стоял, замерев с поднятым пальцем, пока не затих последний отзвук. Потом сказал со вздохом:

– А ты говоришь – сумка... да-а-а-а... Ну а это деревце... я, честно сказать, и не знаю точно. Саженец-то я как антоновку покупал... Но это, как ты видишь, не антоновка. Надули. Антоновка вон стоит.

Яблоки большие, желтые. Ну что говорить, антоновка – она и есть антоновка. А это никакая не антоновка – яблоко мелкое, твердое.

Сладкое яблочко. Ты понюхай. Жалко, сорта не знаю. Кто его разберет.

Всучили как антоновку, а это не антоновка. Жена, правда, говорит, что это тоже мельгано. Но никакое это не мельгано. Мельгано – вон то. Вот это мельгано. Мне его сосед подарил, Самолетов Николай

Гаврилович... На, говорит, Женя. У меня, мол, некуда ткнуть, ты у себя посади. Замечательный был старик. А куда деваться? – спасибо...

Вон то мельгано, да. Яблоко твердое, зимнее... Тут, правда, тоже твердое яблоко. Не такое, конечно, твердое, как мельгано, но твердое. Вот жена и твердит: мельгано, мол. Конечно, она в Уральске выросла, там яблочек сроду не видывали... Мельгано – это вон то

деревце. Сосед подарил. Чудный был старикан. Войну прошел, все своими руками – дом, сарай, трое детей. Так и так, говорит, есть у меня саженец мельгано, только ткнуть некуда. На, мол, пристрой у себя. Так, знаешь, по-соседски. Вот оно и выросло – загляденье.

Яблоко твердое, зимнее... Это мельгано, да. А это разве мельгано? Не мельгано никакое, что ты. Просто смешно. А жена упрямится: мельгано, и все тут. Я говорю: ты пойдя, пойдя сюда, посмотри на настоящее мельгано – разве похоже? Похоже, говорит... Что ты будешь делать.

Втемяшилось ей. И хоть кол на голове теши. Вот так упрется вечно – и ни в какую. Тьфу!

Женя расстроено сплюнул и заключил:

– Дура – она и есть дура, ети ее мать!..

Мопед

Сам я мопедов не покупал, но однажды видел, как это делают другие.

Мы стояли у прилавка магазина в сахалинском поселке Большая Речка и тупо разглядывали товар. Товар наличествовал самый разнообразный – от спичек и соли до лодки-казанки и подходящего к ней мотора

"Вихрь". Из спиртного имели место водка, портвейн и несколько сортов одеколона. Не знаю, как сейчас, а в ту пору на всем Сахалине одеколон бичам не продавался. Рассчитывать на его покупку могли только приличные люди – то есть те, кто был одет в заляпанные штормовки, воняющие мазутом зеленые штаны с накладными карманами, стоптанные кирзовые сапоги или рабочие ботинки. Там все так ходили – от помбура (см.) до начальника инженерно-геологической службы.

Нечего и говорить, что мы тоже были одеты именно так.

Хмурый взгляд, которым смерила нас продавщица, говорил о том, что она порядки знает и что, если спросим, она нам выдаст даже одеколону.

Но мы не хотели одеколону. Мы еще вообще не знали, чего хотим.

Поэтому тихо глазели, очарованные открывающимися возможностями.

Дверь распахнулась, и в магазин влетел новый покупатель – вертлявый человек лет сорока. Он был обут в желтые босоножки, позволявшие рассмотреть дырки на ярко-зеленых носках, а одет в пузырящиеся на коленках спортивные штаны, пиджак поверх майки и облезлую меховую шапку, у которой одно ухо торчало вверх, а другого не было вовсе.

Глаза продавщицы опасно сощурились.

Человек подлетел к прилавку и сказал громко и уверенно:

– Зинка! Мопед "Riga-^4 " есть?

Зинка распахнула глаза, открыла рот, сглотнула, а потом растерянно помотала головой.

– Ах, черт! – воскликнул покупатель. – Как же так?.. Ну, дай тогда четыре флакона "Сиреневого"!

И со звоном высыпал на прилавок мелочь.

Зинка сомнамбулически кивнула – и выставила требуемое.

– Вот видишь, – сказал мне мой напарник, когда мы вышли из магазина.

– Я всегда говорю: главное – женщину удивить. А уж потом делай с ней что хочешь...

Насекомоядные

Насекомоядные растения питаются насекомыми. Глупая муха забирается в пахучий цветок, в самое логово, и, одурев, начинает мыкаться между тычинками. Тогда лепестки схлопываются и в ход идут ферменты, под воздействием которых несчастная прищелица превращается в бульон...

Я ушел с работы. Работа мне не нравилась. Я и года там не проработал. А это грозило какими-то бюрократическими последствиями, казавшимися в ту пору чрезвычайно важными. Прерыванием непрерывного трудового стажа, что ли.

Честно сказать, я вообще не хотел работать. Я хотел сидеть за столом и писать буквы, складывая из них стихи или рассказы. Однако это было никак невозможно – стихи мои почти не печатали, рассказы не печатали вовсе. Кроме того, меня не принимали в Литературный институт имени

А. М. Горького. Даже два раза не принимали. Я осиливал первый тур творческого конкурса, а на втором сходил с круга. В первый раз меня поддержал поэт Егор Исаев. А вот поэт Долматовский (см.

Заблудившийся трамвай), напротив, срезал. Кто поддерживал и резал во второй раз, я не помню.

С работы я ушел вдруг. Довольно неожиданно. Так часто бывает. Что-то случилось, кто-то вспылil. Кто-то не вступился. Кто-то неожиданно встал на их сторону. Мелочь, в сущности. Но я был несколько подавлен.

А тут еще стаж этот прерывается, будь он неладен!

И вдруг звонит товарищ и говорит, что можно вылетать в Томск. Целой бригадой. И что шабашка – то есть сплавные работы (см.) на реке

Кеть – обещает быть очень выгодной.

Я страшно обрадовался. Но оказалось, что жена категорически против, поскольку ей и ее маме будет трудно одним с нашей маленькой дочкой.

– А деньги? – говорил я.

Мол, и так все время зубы на полке, а теперь еще я без работы; но когда я был на работе, то отсутствовал целыми днями, так что с ребенком все равно не сидел.

Мы долго спорили – неделю, наверное. Потом она сказала, что черт со мной. И что я могу ехать. Но должен обещать, что по возвращении дам ей двести рублей.

– Ведь ты говоришь, что собираешься заработать полторы тысячи?

Ну да, я собирался.

– Двести рублей! – повторяла она, грозя пальцем. – И ты потом не должен спрашивать, куда я их дела. Обещаешь?

– Обещаю, – сказал я. – Хоть триста.

И уехал.

И полтора месяца мы сплавляли лес на реке Кеть. И даже все время казалось, что нам вот-вот дадут капитально заработать.

Мы раскатывали плоты, севшие на отмель. Кедровые баланы плыли вниз.

По вечерам на брандвахте, о борта которой шуршала шуга, Костя

Питерский играл на двенадцатиструнной гитаре и пел хорошие песни.

Утром мы снова влезали в мокрые болотники и лезли в воду.

Бригадир бескомпромиссно пил со сплавскими начальниками. Не из любви к пьянству. Просто это был единственный способ добиться справедливости.

Но силы были неравными, и нам едва хватило на обратную дорогу.

- А двести рублей? - удивленно спросила жена, когда я рассказал о постановке сплавных работ на реке Кеть.

- Нету, - ответил я. - Я же говорю: все провалилось. Я ничего не привез.

- То есть как - нету! - изумилась она. - Что это значит - нету?! Ты же обещал!

- Ты пойми, - толковал я, пытаюсь ее остановить. - Вышла вот такая ерунда. Думаешь, мне радостно приезжать с пустыми карманами? Буду срочно искать работу и...

- Ты обещал мне двести рублей! Ты понимаешь, что ты обещал?! Как можно - обещать и не делать?! Обещать и не делать - это хорошо?! Это хорошо, по-твоему?! Нет, ты скажи - это хорошо?! Обещать и не делать

- хорошо это?! Ответь - это хорошо?!

Вот такие вопросы она задавала. И не ленилась повторять.

Просто тупиковые какие-то вопросы.

Я до сих пор на них не ответил.

Наука

Научный подход эффективен при решении вопросов самого разного порядка. Так, например, один старый математик рассказывал, что в двадцатых годах его семью уплотнили, то есть выселили из большей части тех комнат, что она занимала, оставив в пользовании всего одну

- но несуразно большую. По его словам, в углу стоял концертный рояль

- и он был почти неприметен в этой огромной комнате.

Между тем у математика была жена и четверо детей.

Поразмыслив, математик написал заявление в домовый комитет. Он просил разрешения построить перегородку, которая разделила бы эту большую комнату на две.

В домовом комитете заявление внимательно исследовали, а потом управдом наложил резолюцию:

- Отказать!

Тогда математик купил пару поддонов кирпича, мешок цемента, нанял мастерового мужика, и тот возвел необходимую перегородку. И оштукатурил, а потом еще заклеил обоями.

Когда все было готово, математик написал заявление в домовый комитет. В заявлении он просил разрешения сломать перегородку, которая понапрасну делит большую комнату на две, препятствуя тем самым дружной семейной жизни.

В домовом комитете исследовали заявление, а потом управдом наложил резолюцию:

- Отказать!

Это заявление с резолюцией математик хранил много лет и всякий раз, как приходила какая-нибудь проверка, совал его в нос главному проверяющему.

А подводя эту историю к концу, назидательно поднимал указательный палец и говорил:

– Главное – это не то, что они делают. Главное – что они вычисляемы!

Национализм

Общеизвестно, что таджики (см.) пьют зеленый чай (см.), исповедуют ислам (если вообще что бы то ни было исповедуют), едят плов руками, сидя на полу, по-русски говорят с акцентом, а между собой – вообще на какой-то тарабарщине.

А зато тупые русские не способны запомнить ни одного таджикского слова, наливают пиалки до полна, жрут свинину и (видимо, именно вследствие этого) даже если не пьют с утра, то все равно каждый вечер норовят надраться до поросычьего визга.

А зато таджики грязнули и дети у них вечно замурзанные!..

А зато русские не понимают, что такое вежливость, – ослиную шкуру на лицо натянут, и хоть бы им что!..

А зато таджики норовят двух жен иметь!!.

А зато русские за одной не могут уследить!!.

А зато у таджиков затылки плоские!!!

А зато у русских носы картошкой!!!

А зато таджики!!!...

А зато русские!!!...

А зато!..

А зато!..

А зато!..

...Все это – проявления наивного национализма. Наивный национализм – нормальное для человека свойство (иные, худшие разновидности национализма даже и вспоминать не хочется). В том смысле нормальное, что обычно оно почти незаметно. Наивный национализм похож на температуру тела. Мать смотрит на градусник и с облегчением говорит:

"Слава богу, температуры нет!" На самом-то деле температура есть, просто она нормальная.

И впрямь – если ты родился русским, тебе всегда будет странно видеть таджика. Или китайца (см. Грузины). Вот он, китаец. Желтый.

Узкоглазый. Смотрит косо. Говорит непонятно. Ест совсем не то, что положено. Не понимает того, что тебе дорого. А сам дорожит какой-то чепухой, которая и слова доброго не стоит. Как он, такой несуразный и никчемный, уродился? И как не удивляться, на него глядя? Удивишься

– да и побредешь к родимым осинам...

То же и китаец: поглядит-поглядит на тебя, покачает в недоумении головой, плюнет с досады – да и двинет к разлюбезному своему гаолянцу.

И выходит, что вы с ним, глядя друг на друга, как будто в зеркало посмотрелись.

У моей бабушки Татьяны Федоровны была подруга – Екатерина Николаевна

Агеева. Ткачиха и двадцатипятилетняя, она приехала в Таджикистан из Ленинграда в двадцать шестом году. Состояла на партийной работе в разных районах республики. Совлекала с женщины Востока паранджу, билась с басмачами. На старости лет повздорила с соседом по лестничной клетке из-за какой-то ерунды. Как водится, слово за слово.

– Ты националист! – крикнул в какой-то момент сосед-таджик.

– Эх, дурак ты, дурак! – ответила Екатерина Николаевна, достаточно теоретически подкованная, чтобы произвести необходимую

классификацию (см.) и отличить одну разновидность национализма от другой. – Это ты – националист! А я – шовинист!..

Национальность

Понятие весьма условное, что видно хотя бы из приведенного ниже примера.

В Гармском районе Таджикской ССР был расположен сейсмологический полигон Института физики Земли – сеть сейсмостанций, позволявшая отслеживать самые тонкие подвижки земной коры и отрабатывать новейшие научные методы прогноза землетрясений. Туда часто приезжали иностранцы. Может быть, полигон и сейчас действует, я не знаю.

В годы, о которых идет речь, были в ходу пятиместные самолеты чешского производства "Морава" – одно пассажирское место впереди, рядом с летчиком, три сзади. Как в такси. Потом один угнали лихие люди, и на этом эксплуатация этого чудного транспортного средства в

СССР закончилась.

Американский сейсмолог по имени Дэйв прилетел из Москвы в Душанбе.

Он хорошо говорил по-русски. Его встретили в аэропорту и тут же посадили в "Мораву" – лететь в Гарм.

Пилот оказался приветливым и гостеприимным человеком. Ему было приятно показать иностранному гостю достопримечательности (см.) горной страны. Он специально петлял и закладывал виражи, чтобы можно было увидеть красоты какого-нибудь ущелья или озера. Я сам однажды летал на таком самолете, и наш пилот делал то же самое.

Примерно на полпути они увидели внизу нечто необычное. По огромному полю носились люди на лошадях, пытаюсь отобрать друг у друга что-то похожее на плотно набитый мешок. Пилот пояснил удивленному

американцу, что, должно быть, в кишлаке какой-то большой праздник – может быть, свадьба – и по этому поводу устроители организовали козлодрание – любимейшее развлечение таджикских мужчин. А мешок – это и есть туша козла. И предложил присесть ненадолго, чтобы познакомиться с интересным народным обычаем поближе.

Так и сделали. Их встретили с радостью. Праздник продолжился.

Американец и впрямь узнал много нового и интересного как о народных обычаях, так и о кулинарных традициях таджиков (см.).

Когда он добрался наконец до цели своего путешествия, то с восторгом рассказывал об увиденном приятелям-сейсмологам.

– Так интересно! – восклицал он. – Ужасно интересно! Но самое главное! Представляете – там были одни таджики! Ну вот просто одни таджики! И только двое русских – я и летчик!

Новости

Осенью и зимой 1999 года я по причинам личного характера жил в Доме творчества "Переделкино".

Телевизоров в номерах не было. Поэтому вечером, после ужина, я задерживался в холле, чтобы узнать о событиях в стране и мире.

Однажды один замечательный писатель (см.) (назовем его Борисом

Петровичем), прогуливаясь по коридору, поманил меня пальцем.

Я с удовольствием присоединился к нему.

– Не знаешь, чего они ждут? – спросил Борис Петрович, косясь на телезрителей.

– В каком смысле? – не понял я.

– Они смотрят новости шесть раз в день, – пояснил он. – Знаешь, когда на экраны вышел фильм "Чапаев", люди по восемь раз на него ходили – все ждали, может, Чапаев все-таки выплывет, может, его не до конца убили!..

– Ну да, – кивнул я.

– Так то Чапаев! – немного раздраженно сказал Борис Петрович. –

А эти-то, эти-то чего дожидаются?!

Огурчики

На Сенном рынке в городе Саратове торговка продает соленые огурцы из бочки.

Подходит покупатель:

– Хорошие огурцы?

– Да как яблоки огурчики-то! Попробуй, милый!

Покупатель самостоятельно сует руку в бочку, достает огурец, вдумчиво жует.

– Да...

Берет второй.

Прибирает и его.

Торговка молчит, сдерживая ярость.

– Что-то не хрустят, – недовольно замечает он, утирая губы.

– А ты грибочков, грибочков возьми! – ядовито советует она. – Они с песочком!

Осетины

– Пора с этим делом кончать, – сказал Вялов.

Поскольку он тут же пальнул из своей "тозовки" и грохнул еще одного зайца, доверчиво стоявшего на снегу в лучах фар, я не сразу понял, что мой начальник имел в виду под окончанием дела: то ли с несчастными животными предлагал немедленно и тотально покончить, то ли покончить с их безжалостным истреблением.

Оказалось, что он имел в виду последнее. Да и впрямь: жрать хотелось невыносимо, а никакой еды, кроме неописуемого количества зайчатины, у нас с собой не было.

Мы разрядили ружья и расселись в машине. Степь была ровной и белой.

Охота прошла, но ошалелые длинноухие грызуны этого еще не знали и то и дело с суицидальной резвостью выскакивали под колеса. Водитель

Коля беззлобно материл их, аккуратно объезжая. Я закрыл глаза, чтобы не видеть их странные прыжки на свету – неуверенные, скованные, будто в кандалах. Но зайцы продолжали упрямо появляться и в мерцающей темноте под веками.

– Заглянуть, что ли, к Вите-осетину, – пробормотал Вялов.

– Что? – переспросил Коля. – Что за осетин?

– Скотовод, – ответил Вялов. – Мы с ним в прошлом году на сайгаков ездили. Да, заедем, пожалуй. Хороший парень...

Я подремывал, вспоминая, что уже был знаком с одним осетином – Сашей

Гасановым, работавшим экспедиционным шофером у моего отца (см.

Локайцы , Родословная). Он был ранен на фронте в 1943 году.

Правая щека его всегда усмехающегося лица была отмечена глубокой воронкой. Я неоднократно спрашивал, как же так: если пуля ударила справа, она должна была пробить и левую щеку!

– Я ее выплюнул, – доверительно отвечал он. – А ты как думал? Тьфу – и нету!

Честно сказать, я в это не до конца верил. В свои двенадцать или тринадцать лет я был достаточно начитан (см. Энциклопедия), чтобы отличить суровую и ясную правду от пусть и добродушного, но все же лукавого подтрунивания.

Однако мы с ним не один раз бывали в поле (см.), то есть жили в горах, ходили с отцом в маршруты (Гасанов, разумеется, не ходил, его дело шоферское), ловили рыбу, организовывали бои между фалангами

(см.) и богомолами (это, правда, меня одного увлекало) и исполняли прочую тяжелую мужскую работу. И всегда он со мной говорил совершенно серьезно.

Но даже если в данном случае он немного привирал, что, как я теперь понимаю, вполне простительно, когда речь идет о такого рода стоматологии, то во всем остальном Саша Гасанов был совершенно замечательным человеком – большим, сильным, добрым и умелым...

Поднялась метель, и дом осетина возник внезапно.

Справа виднелись темные постройки кошар. Окна светились.

Мы сидели в комнате, застеленной коврами, и неспешно говорили о пустяках, касавшихся трудностей дороги. Принесли кое-какую посуду.

Ее было не очень много. На мой взгляд, это сулило обильное угощение.

Как говорил моему отцу один курд: у вас, у русских, вечно наставят тарелок, а есть нечего. Ты, мол, ко мне приходи: у меня всего одно блюдо, да и то треснутое, зато наешься до отвала!

Так оно и было. Сначала подали водку, хлеб, соленья, холодное мясо.

Потом появилось главное (как я, глупец, полагал!) блюдо. Блюдо было фаянсовым, примерно в полтора обхвата. На нем лежала дымящаяся гора жареной баранины.

В этот момент открылась входная дверь, и в комнату ввалился совершенно заснеженный ребенок лет четырех. Поскольку никто не удивился его появлению, я заключил, что мальчик является полноправным членом семьи. Было, правда, непонятно, что он там делал

– в буране, во тьме, в степи, в одиннадцатом часу вечера. Гонялся за сайгаками? Крутил хвосты волкам? Так или иначе, крепыша моментально раздели, он, не говоря худого слова, наелся мяса и тут же безмятежно уснул, привалившись к отцу.

Как оказалось, это было единственным верным решением, и всем нам, не будь мы столь самонадеянными типами, следовало поступить так же.

Потому что скоро выяснилось, что, пока мы налегали на жаркое, чьи-то нежные руки неустанно поддерживали огонь в очаге, рубили телятину, бросали мясо в котел, где оно бурлило в тесной компании с пряными травами. Чьи-то пальцы быстро месили тесто и резали его на кусочки.

А также лущили чеснок, крошили его и, наполнив большие плошки, заливали кипящим бульоном.

Короче говоря, как только мы отвалились, нам его и принесли.

Кажется, оно называлось "жишгали".

Нижним слоем на блюде лежали дымящиеся клецки. Поверх них – куски разварной говядины. По бокам стояли пиалы с чесночным соусом.

Следовало обмакивать твердое в жидкое и с наслаждением поглощать.

С одной стороны, это казалось выше наших сил. С другой – можно ли было обижать хозяина?

Мы взяли по кусочку и поступили с ними как следовало.

Но чеснок! Этот чеснок! Этот проклятый чеснок в бульоне! Он возбуждал аппетит, даря обманчивое ощущение, что можно съесть еще кусочек!.. и еще кусок!.. Эта сладкая говядина, совсем недавно мирно хрупавшая комбикормом!.. Эти клецки!.. Боже мой!..

Я плохо помню, как мы ехали к дому. Кряхтя и постанывая, Коля изо всех сил старался вести машину прямо. На зайцев он уже не обращал внимания. Должно быть, милосердие в нем было временно убито осетинским блюдом под названием "жишгали".

Палыч

История литературы битком набита разнообразными советами насчет того, как надо писать. Ни один более или менее значительный автор не пожалел времени, чтобы сформулировать собственный рецепт. (О незначительных и не говорю – графоманы всегда начинают с громких деклараций и директив.)

Лично я руководствуюсь ориентирами, намеченными в свое время в одном из бессмертных стихотворений Палыча:

...писать надо так,

Чтоб вздохами лифчики рвбались!..

Понятно, что, когда я, следуя этому принципу, завершал работу над новым стихотворным произведением, мне хотелось показать его именно

Палычу, чтобы получить одобрение, касающееся конкретной реализации его эстетических идей.

Палыч безглаголиво брал в руки листок.

– Да, – вздыхал он, прочтя. – Знаешь, как один полковник говорил?

Непонятно, как стихи...

– Ты, кажется, чего-то не понял? – осторожно интересовался я. Во мне еще жила надежда на одобрение и восхищение.

– Вообще ничего не понял, – равнодушно отвечал он.
– Муть какая-то.

– Почему муть?! – возмущался я. – Давай я сам прочту, ты все поймешь!

– Я со слуха еще хуже понимаю, – хладнокровно говорил он, возвращая листик. – Нет, знаешь, это не для меня... слишком умно. Точнее – туманно. Для меня нужно писать просто. Как для дураков пишут. Вот напишешь как для дураков, тогда я пойму.

И надо сказать, много раз я, добиваясь его одобрения, переделывал написанное совершенно до неузнаваемости. Однажды, например, из трех четверостиший мне пришлось сделать четырнадцать. Только тогда он согласился: да, мол, вот это уже для дураков!

– Вот так и пиши! – поощрял он меня. – Пиши для дураков!

Собственно говоря, так я с тех пор и делаю.

Партия

Как известно, в Советском Союзе была только одна партия -

Коммунистическая. Она писалась с большой буквы.

Другие партии писались с маленькой и представляли собой административно-хозяйственные подразделения различных геологических, геофизических, геодезических, географических, топографических, метеорологических, фольклористических и прочих экспедиций.

Для того чтобы наглядней показать разницу между Коммунистической партией Советского Союза и просто партией, приведем антикварный анекдот.

Чукча встречается в тундре изможденного, обмороженного, бородатого человека с геологическим молотком в руках, в полевом обмундировании и полевой (см. Поле) сумкой на боку.

- Как к поселку выйти? - обессиленно спрашивает человек, опираясь о рукоять молотка.

- А ты, однако, кто? - спрашивает хитрый чукча.

- Я - начальник партии.

Чукча без раздумий вскидывает карабин и валит незнакомца точным выстрелом в голову.

- Чукча, однако, знает, кто у нас начальник Партии!.. - хмуро бормочет он, закидывая карабин за спину.

Единство и неделимость подтверждались также другим анекдотом.

Расслабленный старческим маразмом генсек Л. И. Брежнев с трудом гладит по голове стоящую перед ним внучку.

- Машенька, - говорит он заплетающимся языком, - кем ты станешь, когда вырастешь?

- Генеральным секретарем, дедушка! - звонко отвечает внучка.

Брежнев отдергивает руку и грозит пальцем:

- Что ты, Маша! Генеральный секретарь у нас только один!

Пассажиры

В детстве я видел, как водитель защемил дверью выходящего пассажира-безбилетника. Это был старый хороший автобус Львовского автобусного завода. И двери у него были быстрые, не то что у теперешних. Заяц сунул голову на выход, а ловкач шофер его и защеми.

Хлясь! – двери сжали шею безбилетника, и готово. Ни туда ни сюда.

Водитель взял микрофон и, напрочь забыв о маршруте (задело его, видать, за живое), долго читал нам, законопослушным, но оробевшим пассажирам, лекцию о пользе личной честности и благе общественной пользы. Не знаю, слышал ли его безбилетник, – голова-то с ушами у него была на улице.

...А то еще рядом с пожилой пассажиркой в очках сидит забулдыга в болоньевой куртке настолько пронзительно синего цвета, что при взгляде на нее сводит челюсти. Автобус трясет. Женщина читает письмо, шевелит губами, щурится, с трудом разбирая неровный почерк.

Я стою за их спинами и тоже читаю письмо. Мне это делать удобнее, чем забулдыге, который косит глазом сбоку.

Привожу текст с полным сохранением авторской орфографии и пунктуации:

"24 1 79 г.

Привет из Целинограда!

Здравствуйте Инна, Саша, бабушка и Леночка!

С приветом я. Письмо ваше я получил, за что огромное спасибо. Ну несколько слов о себе. У меня так идет все нормально, только что не куда не выйдешь. Все под охраной. Работаю электриком не на улице а в

промзоне. Только очень скучно. Домой ему не писал и не буду. Я это запомню на всю жизнь, да у меня сейчас и нет дома и мне нечего не нужно от него, все равно мать уже не вернешь. Только пишу братишке.

Очень охота вас увидеть. Ну ничего в ноябре выйду, потом приеду в отпуск. Бабуля у тебя наверное уже неважное здоровье, но в этом году все равно увидимся, а то я очень скучаю. Бабуля сколько тебе хоть лет, а то я не знаю, ты наверное старенькая, старенькая стала. Ну больше не расстраивайся все будет нормально..."

Женщина утирает слезу и переворачивает листок, чтобы продолжить свое нелегкое чтение.

Пассажир-забулдыга вслед за ней тоже шевелит губами и морщится.

Вдруг протягивает руку, тычет корявым пальцем в лист и произносит недовольно:

– Я вот этого слова не понял!..

Паук

Меня пригласили в одну компанию, где был эстонец из Таллина, длинноволосый худощавый человек в темных очках, художник (см.).

Он плохо говорил по-русски и часто переспрашивал, что значит то или иное слово, а мы хором ему растолковывали.

Кто-то произнес слово "паук", и эстонец, по обыкновению, спросил с характерным акцентом:

– Что есть паук?

Все загалдели. Особенно усердствовала хозяйка дома.

Эстонец не понимал. Слово "паутина" тоже было ему неизвестно. Равно как и "насекомое".

Кто-то, отчаявшись, крикнул:

– Ну, вроде бабочки!

– Бабатшки? – удивленно повторил эстонец.

Мы не стали разбираться, понимает ли он смысл слова "бабочка". Мы резко отвергли это слово и хором наорали на того, кто его произнес, обезумев в своем стремлении объяснить эстонцу, что такое паук.

Мы перешли на язык жестов.

– Краб! – просиял он.

– Да какой краб?! Никакой ни фига не краб! Паук!!! Ну такой вот, такой! В углу! Плетет вот так! Муху вот так – цап! Муху знаешь?

Эстонец смущенно и беспомощно переводил взгляд с одного раскрасневшегося лица на другое.

Когда мы обессиленно замолкли, он решил взять инициативу по наведению языковых мостов в свои руки.

И спросил:

– Как она пистшит?

Пацифик

– Все-таки жаль, что мы не попробовали вчера этой чертовой

клэм-чауды (см.), – вздохнул Аболин, оценивая осматривая берег.

– Ну да, – буркнул я. – А насчет птичьего молока не жалеешь? Или, к примеру, что града Китежа не видел? Мне сдается, это в одну силу.

Он хмыкнул и стал расстегивать куртку.

– Я-то купался в Тихом океане, – поспешил сказать я, следя за его действиями. – Тебе в новинку, понятно... ну а я-то купался. На

Сахалине. Ничего особенного, так я тебе скажу...

– Не в океане, – твердо возразил он, – а в Татарском проливе. Сам же говорил. Смешно сравнивать.

Я внутренне заметался. Конечно, еще оставалась надежда, что сию минуту поднимется страшная буря или, например, из отеля выбежит

Сергея (см. Чемодан) и, оценив наши безумные намерения, немедленно вызовет "скорую". Нас повяжут санитары в белых халатах и отвезут в психушку. Тоже, конечно, не сахар. Зато в воду лезть не придется.

Но от отеля не бежала ни одна собака, и Пацифик сегодня совершенно не оправдывал моих ожиданий. Зато совершенно оправдывал свое красивое название. Небо над ним было неправдоподобно голубым.

Тянувшийся до горизонта пляж – неправдоподобно широким. Каблуки оставляли лишь чуть заметные следы – так плотно лежал блестящий серо-желтый песок. Тихая волна с шипением набегала на сушу, и было непонятно, как может породить ее столь совершенная водная гладь.

Аболин стянул куртку и безжалостно отшвырнул.

– Ой, смотри-ка, верблюдики, – умильно сказал я, еще надеясь отвлечь его от задуманного. – И лошадки!

Вдалеке по пляжу влеклась группа всадников. Двое и впрямь были на верблюдах.

Он по-моряцки поднес ладонь ко лбу и некоторое время всматривался.

Потом пробормотал:

– Блин, а откуда же у них верблюды?..

– Из зоопарка, – предположил я.

– Туристический бизнес, – неодобрительно определил Аболин, пренебрежительно махнул рукой и стал расстегивать штаны.

– Ну и что, – запальчиво сказал я. – Ну и бизнес! И никто не купается, между прочим!

– Это их дело, – буркнул он.

– Подожди, – сказал я, чувствуя прилив легкого отчаяния. – Ну сам рассуди. Вот ты хочешь окунуться в Тихий океан. Зачем? Ты думаешь, что станешь после этого умнее или добрее? Или тебе откроются перспективы карьерного роста? Или ты встретишь какую-нибудь чудную женщину и будешь с ней счастлив до самой смерти? Да? Ничего этого не будет, – безжалостно заключил я. – А будет только то, что после третьей кружки пива ты возьмешь манеру бахвалиться, как лихо купался в Тихом океане. И все! Ты понимаешь? Все!

– Ну ладно, ты долго будешь надрываться? – грубо спросил он, оставшись в нелепых семейных трусах в цветочек. – Идешь, нет?

С того дня протекло довольно много времени. Случилось множество самых разных событий. Одни были приятны, другие не очень, третьи и вовсе следовало бы отнести к разряду происшествий. Я менял работу и места жительства, встречался с новыми людьми, расставался с любимыми, прощался с

друзьями, становился нищим, переставал им быть, искал счастье, находил, терял и снова находил...

Жизнь неоднократно менялась, перетекая из одной формы в другую и неузнаваемо переделывая мой собственный мир. Все плавилось и текло, все рушилось, чтобы восстать в иных очертаниях и формах и нести какой-то новый смысл, до которого каждый раз приходилось заново докапываться.

Да, да, да! – все многократно изменилось. Все!.. И лишь одно осталось неизменным: стоит мне только хватить пару кружек пива, и я не могу удержаться, чтобы не похвастать, как здорово мы купались в

Тихом океане!..

Персик

В школе мы курили тайком. Курение не было запрещено старшеклассникам, но как-то неловко было заниматься еще недавно запретным делом на глазах у учителей. Мы больше любили курить не в школе, а в сквере за театром. Там вообще было хорошо.

Однажды вечером мы сидели вчетвером на скамейке, курили болгарские сигареты "ВТ", трепались о выпускных экзаменах, были прилично одеты и ждали подходящей минуты, чтобы распить полулитровую бутылку портвейна, лежавшую во внутреннем кармане Лукичева пиджака, – то есть, короче говоря, не совершали ничего предосудительного.

На соседней скамье расположились три молодых мужика лет по двадцать пять каждый. Один из них подошел прикурить. Он был похож на какого-то знаменитого артиста – такое же узкое лицо. Правда, глаза не имели того отчаянно твердого выражения, что свойственно глазам киноактеров, а как будто плавали. Он был пьян.

Федул ловко вынул из кармана зажженную спичку, но парень не стал прикуривать. Вместо этого он радостно ухмыльнулся, извлек из-под полы пиджака большой пистолет и направил его на Федула. Все мы оцепенели, но больше всех Федул – спичка догорала и жгла ему пальцы, а он, немо раскрыв рот, тупо смотрел в дырку ствола.

Тем временем подошли двое других (первый, стало быть, являлся авангардом), один из них махнул красной корочкой милицейского удостоверения (они потом еще не раз по очереди доставали эти свои долбанные удостоверения и тыкали в нос: "Ну-ка, бля, читай! Видишь?

Нет, ну ты, бля, видишь? Сидеть!"), другой тоже достал пистолет.

Мне было так страшно, что если бы не твердая уверенность, что кто-нибудь из них пальнет в спину, я бы точно кинулся бежать.

Обыск ничего не дал, но бутылка портвейна, сверкнув на вечернем солнце и совершив красивую дугу, с костяным хрустом разлетелась по асфальту, оставив черную лужу пахучего вина. До сих пор не понимаю, почему они ее просто не выпили. Долго измывались. "Встать!" Когда ты вставал, кто-нибудь из них сильно толкал тебя в грудь: скамейка ударяла под колени, и ты со всего маху бился об нее. Минуты полторы в глазах плясали разноцветные букашки.

Когда им это прискучило, они неспешно удалились в сторону летнего ресторана, откуда доносились приятная музыка и запах шашлыка. Только один обернулся напоследок и снова погрозил стволом.

Федул напряженно толковал, что хорошо бы в отместку кому-нибудь тоже набить морду. Идея выглядела заманчивой, но все же была совершенно абсурдной, и мы его не поддержали. Витюша Баранов шел молча, только сплевывал. Потом сказал со вздохом, что если об этом происшествии кто-нибудь узнает, то у его партийно-правительственной матери (см.

Богачи) будут большие неприятности, а что до него самого, то просто каюк. Толян, с которым мы жили в соседних дворах, сообщил, что одного он знает: именно красавчик этот, что с актерскими глазами, служит в нашем околотке участковым. И зовут его Персик.

Полночи я строил планы мщения – подстеречь... догнать... отвести в сквер... и об скамейку его, говнюка, об скамейку! Планы эти были совершенно нереалистичны. Красивое лицо Персика представляло собой лицо власти, а с властью даже такой отпетый мой одноклассник, как

Алим, не стал бы иметь дела, хоть он-то был человек истинно бычьей конструкции, совсем безбашенный и кончил (а может быть, начал) нехорошо: зашли они с дружкой зачем-то в подвал одного дома возле рынка и обнаружили пьянчужку Машку, известную всем как на рынке, так и в его округе; сначала изнасиловали (что само по себе было необъяснимо: ну какой смысл Машку насиловать, когда про нее точно известно, что соглашается с любым за одни только пивные опивки), а затем, резвясь, надели на водопроводную трубу. И Машка погибла, а

Алим получил восемь лет, и то еще по снисхождению за малолетство.

Следующим вечером раздался звонок в дверь. Я открыл и увидел

Персика, одетого в форму. Он стоял на пороге с озабоченным и деловым видом.

Ноги мои подкосились. Я решил, что Персик пришел меня арестовать и посадить в тюрьму за то, что я курил вчера в сквере. Впрочем, это приблизительно, а если быть точным, то в голове не было связных мыслей: панический ужас обеспечил их полное отсутствие.

Персик мазнул взглядом и явно не узнал.

Выяснилось, что он зашел по долгу службы – проверить документы на отцово ружье. Отец был дома, они разобрались с бумагами, и Персик ушел навсегда, напоследок задумчиво на меня посмотрев, как будто уже, сволочь такая, что-то припоминал.

Глаза у него в этот раз были не пьяные.

Про мои собственные мать сказала, что никогда таких испуганных не видела, и долго недоумевала, что меня могло так всполошить.

Объяснить ей, что я увидел лицо власти, которая способна ни за что ни про что бить тебя всем телом об скамейку, я не мог, потому что пришлось бы рассказывать и про портвейн, а этого мне делать не

хотелось. Кроме того, я точно знал, что она поверит всему: и что мы сидели на скамейке и курили, и что матерились, и что хотели пить портвейн, – всему, кроме главного: что этот симпатичный юноша, одетый в чистую милицейскую форму, мерзавец и подонки и такие же мерзавцы и подонки другие двое, что были с ним вчера.

Печь

Он говорит высоким полудетским голосом:

– В прошлом году я в соседней деревне жил, в Быках. Тогда у меня своего-то дома еще не было, вот и присматривался, ходил по окрестным деревням. В Быках мне тетку одну показали, она сама в Галиче жила, а дом ее пустовал. Вот я и поселился. Ну, с ее разрешения, конечно...

И представляешь, стал я присматриваться к печке. Обыкновенная шведка. Ну, знаешь, гладкий под, никакого поддувала нет, одна дверца. Кладешь дрова, зажигаешь, и дело с концом. Но – тяга плохая.

Понимаешь, плохая тяга, вот какое дело. Когда дверца закрыта – еще куда ни шло, а чуть откроешь – весь дым в комнату, задыхаешься. Даже огня из-за дыма не видно. А я, знаешь, люблю на огонь смотреть.

Сядешь, смотришь, думается хорошо... Даже камин хочу в квартире сделать... Хочу камин, понимаешь! Люблю на огонь смотреть!..

Закуривает, несколько раз как-то неумело пускает дым. Мечтательно улыбается.

– Ну и вот, – продолжает он, снова построжев. – Стал разбираться.

Оказывается, в той шведке был сложный дымоход. Пока он там петляет – вверх, вниз, туда-сюда, – тяга-то и теряется. Но сначала-то я решил, что он просто забился. Стал смотреть. Взял длинный гвоздь. Постучу, найду, где гулко, и этот кирпич начинаю гвоздем оконтуривать, глину из швов выковыриваю. Ковыряешь целый час – выковыряешь все, кирпич вынешь. Вынешь – а там чисто, хороший такой дымоход, не осыпался ничуть. Я его весь просмотрел – все чисто, а не тянет.

Возился-возился, – а, думаю, ну вас всех на фиг с вашим обогревом!

Взял и переложил пару кирпичей в дымоходе: колено заткнул, а ход прямо в трубу (см.) раскрыл. С зевом тоже повозиться пришлось.

Вынул ряд кирпичей, расширил... да и дверцу снял, все равно она для такого зева не годилась – маленькая. Ух и тяга началась!.. Веришь – как-то наволочку повесил подсушить, так ее чуть в трубу не утянуло!

Гудит! Жарит!..

Снова мечтательно улыбается. Вздыхает.

– Правда, дрова быстро прогорают. Не напасешься. Но это уж, сам понимаешь, как: либо тяга хорошая, либо тепло. А у меня напрямую – гул стоит, такая тяга...

Затянувшись, стряхивает пепел.

– Потом хозяйка приехала. Здрасти-здрасти, как здоровье, то-сё, пятое-десятое. Не люблю я этих околичностей. Здрасти-то здрасти, а сама так и зыркает по сторонам, не нарушил ли я чего. А я как раз печь топил... Завожу ее в комнату, подвожу к печи – там пламя гудит, языки огня так и пляшут, так и пляшут!.. Вот, говорю, Анна Петровна, тут сядьте... нет, лучше тут... Красиво? Она села, посидела, посмотрела, да вдруг как заплачет! Что ж ты, говорит, ирод, сделал?

Как же, говорит, так – печь без дверцы? Ты мне, мол, дверцу сделай, а то пожарник увидит и что-то там такое запретит... Представляешь?!

Возмущенно машет рукой.

– Откуда здесь пожарник, скажи на милость?! Тут спичек-то не найдешь, не то что пожарников... Да ну ее. Странная какая-то тетка...

Снова машет – теперь уже просто расстроено – и кидает окурочек в огонь.

– Дверцу-то сделал?

– Нет, не сделал дверцу. Без дверцы лучше, неужели не понятно?..

Конечно, можно было бы и без этого всего обойтись... Но, знаешь, такой уж дурацкий у меня характер: уж если что втемяшится, то конец!..

Берет палку, задумчиво ворошит угли в догорающем костре.

Вздыхает.

^1 Внимание! Смотрите! Двести метров справа! (англ.)

^2 Дословно: наблюдение за китом (англ.).

^3 Не путать с Лангманом (см. Чемодан).

^4 Сай – ущелье, балка (тадж.).

Писатели

Писатели – это люди, заменяющие писанием все прочие отправления организма.

Писателями становятся, как правило, по ошибке.

Желание стать писателем возникает в детстве, когда человек ничего не знает об этой профессии.

Обычно им одержимы дети из простых семей. Взрослея, они встречаются с самыми разными людьми. Тут и геологи, и строители, и охотники, и химики, и рыболовы. Филателисты, шоферы, агрономы, начальники...

Их дела ясны и вовсе не романтичны. А вот писателей, как правило, поблизости нет. Образ писателя формируется в условиях информационного вакуума под воздействием необъяснимой убежденности в том, что человек, умеющий расставлять слова на бумаге в таком порядке, чтобы их было интересно читать, заведомо превосходит других по всем параметрам.

С годами становится понятно, что писатели в жизни заметно отличаются от тех, что некогда бытовали в детском воображении. Оказывается, это обычные люди, затравленные финансовыми затруднениями и долгостроем воздушных замков, а пожить в настоящих Замках (см.) удастся не всем, далеко не всем. Лучшие из них сознают, насколько они не соответствуют своему высокому званию. Когда их называют писателями, они смущаются, краснеют и не смотрят в глаза. Ясно и то, что пылкость давней юношеской любви к ним – всего лишь исключение.

Подавляющее большинство народонаселения относится к писателям довольно прохладно, вовсе не склонно их боготворить и, напротив, всегда готово к

пренебрежению, насмешке или напрасной зависти. На их счет можно услышать и самые крайние мнения. Так, один истопник требовал для всех писателей чохом высшей меры или, в качестве неслыханной милости, пожизненного заключения. "Трутни! – говорил он.

– На машинке-то и я бы мог стучать, а вот ты хоть что-нибудь путное сделай!.."

Кроме того, становится очевидно, что писатель вовсе не совершает подвига тем, что имеет обыкновение писать. Действительно, совершает ли подвиг птица (пусть это будет ворона, дабы не навевать романтических ассоциаций) тем, что каждодневно машет крыльями, или собака – тем, что без конца бегают и лает? Писатель тоже не может не писать – это его нормальное состояние, состояние обыденности, а не подвига.

Это свойство может приносить бесконечные радости, а может – и многие печали. Давно доказано, что все писатели – графоманы в клиническом смысле этого слова, то есть люди, подверженные болезненной склонности к письму. Но почему-то в результате болезненной склонности одного рождаются страны, времена, события и люди, а итогом точно такой же в клиническом смысле склонности другого является вечно набитая редакционная корзина, нищета, несчастье и жизнь, рассыпанная на никому не нужные буквы. Кроме того, бывают времена, когда этим свойством вообще лучше было бы не обладать. Но что делать! Точно так же растет дерево: ему плевать, какая на дворе эпоха. Оно растет, потому что не может не расти, – лил бы изредка дождь да светило солнце. Его можно увещевать, уговаривать по-доброму, разъясняя, что лучше бы ему для его же пользы прекратить это дело, поскольку красивый индустриальный пейзаж будет вот-вот непоправимо испорчен. Но увы – оно растет. И тогда его буднично срубают.

Если смотреть на вещи здраво, придется заключить, что рассказы, повести, романы и даже стихи – это всего лишь побочный продукт жизнедеятельности писателя. Пчелы тоже жужжат и собирают нектар не потому, что этого хочет пасечник, и не для того, чтобы в магазинах продавался мед, разлитый в баночки. Они никогда не смогут поставить частоту трепетания крылышек в зависимость от плана заготовительской конторы. Тем не менее подобная самостоятельность еще не является поводом для того, чтобы посыпать их дустом.

Пусть пчелы жужжат, а писатели пишут. И те и другие создают нечто такое, что кому-то кажется ненужным баловством, кому-то – любимым лакомством, и наверняка найдется кто-нибудь, для кого это – последнее лекарство.

Поле

Поле начинается так.

Ранним утром начала лета в каком-нибудь там хоздворе грузится машина. Это бортовой "ГАЗ-51" с брезентовой крышей. Первыми в кузов идут самые плотные и тяжелые вещи: стопа раскладушек привязывается к переднему борту, затем выючные ящики с кухонной утварью и личными вещами, следом за ними палатки, неопределимые тюки, свертки, спальные мешки. Все это тертое, засаленное, и все приходится по десять раз перекладывать, чтобы уместить толком. Когда наконец задача решена, то есть сверху оказались предметы более или менее мягкие, они застилаются брезентом. Образовавшийся плацдарм занимает персонал геологической партии – человек пять, как правило. Ну и ты с ними в качестве довеска.

Водитель заводит двигатель, машина ревет, чихает, но все-таки кое-как раскочегаривается, выползает из ворот и, опасно содрогаясь, направляется к Зеленому базару.

Тут новое дело. Начальник озабоченно ходит по рядам с полевой сумкой и списком, торговцы, почуяв верного покупателя, лезут из кожи вон, а персонал, включая повариху (см. Лагман), упаковывает и таскает к машине полотняные мешки с крупой, макаронами, рисом, громоздит картонные коробки с огурцами и помидорами. Сам ты чуть не надрываешься в честной борцовской схватке с кулем лука. Но наконец и это добро занимает отведенную под него заднюю часть кузова.

И вот – уже в двенадцатом часу – тяжело груженная машина, покряхтывая, медленно выбирается из города. Уже за ДОКом – за конечной троллейбуса – она немного

оживает, набирает ход, будто сама не веря своей прыти, весело проскакивает двадцать километров до развилки, получает на заправке положенную порцию бензина и толику свежей воды в радиатор, так же бодро берет с места, рассчитывая, видимо, этак вот, вприпрыжку, добраться до самого Бальджуана – и тут же увязает в тягучем буро-желтом воздухе.

Белое солнце томит асфальт до лаковой нефтяной испарины. Свесишь голову за борт – видишь, как медленно колеса наматывают на себя дорогу к перевалу. Поднимешь голову, а кругом по-прежнему все одно и то же – выгорелая трава на обочине, марево за кромкой обрыва, в котором дальние склоны теряют цвета и кажутся одинаково бурыми. С другой стороны – отвесная стена в каменных желваках и заусенцах, а то еще, где помягче, в следах экскаваторных ковшей. Впереди маячит масляная задница какого-нибудь бензовоза, бренчит цепь по асфальту.

Встречные машины летят вниз, обдавая мгновенным жаром и ревом...

Ну а потом...

Впрочем, нет. Поле начинается гораздо раньше.

Если кто не знает, полем называют полевой сезон и полевые работы: уехал в поле... вернулся с поля... когда ты в поле?..

Отбывали, как правило, в конце апреля или начале мая, возвращались в октябре или к Ноябрьским. Это зависело от района работ. Если геологическая партия (см.) направлялась в теплые, в ближние края – на Бабатаг или в Гиссар, полевой сезон был короче. И напротив, длиннее – если ее ждали малодоступный Восточный Памир, лунные пейзажи высокогорной пустыни, зона вечной мерзлоты, дикие каменные просторы, залитые мертвящим ультрафиолетом.

Три геологических дома, два из которых стояли друг напротив друга, а третий – в некотором отдалении,

создавали вокруг себя атмосферу грубого мужского труда, связанного с опасностями, лишениями, с отсутствием вещей и явлений, привычных для человека, ведущего оседлый образ жизни.

То есть поле, можно сказать, и не кончалось. Когда наши отцы возвращались – бородатые, темнолицые, сухие, как богомолы, одетые в выгорелые штормовки и рабочие штаны, обутое в кирзовые сапоги (а то еще, чего доброго, трикони), с рыжими пистолетными кобурами на поясах, с карабинами за плечами, – они тут же начинали готовиться к новому сезону.

Окрестные жители более или менее представляли себе, что за публика проживает в этих трех домах. Однажды жаркой летней ночью Зина

Гольберг, в девичестве Еремеева (муж ее Анатолий об эту пору был, разумеется, в поле), услышала где-то невдалеке под окнами шум некоей суматохи, сопровождаемой сдавленными женскими писками. Ей достаточно было высунуться в окно и крикнуть: "Беги, парень! У него пистолет!"

– чтобы тут же услышать топот удирающего пристава и радостные всхлипывания освобожденной приставаемой.

Помбур

Однокашник приехал на производственную практику, оформил в УБР положенные бумаги, получил должность помбура, к вечеру добрался вахтовой машиной на буровую, предстал пред светлые очи бурмастера

(см.), был назначен в вечернюю смену – с четырех дня до двенадцати ночи – и поселен на пустующее место в балок. Соседняя койка тоже пустовала – как выяснилось позже, занимавший ее помбур работал в ночную. Однокашник повалился на свою кровать и уснул как убитый.

Утром его разбудил шум, неприятно диссонировавший с усыпительным ревом танковых дизелей, доносившимся от буровой.

Громадный чумазый человек с матюками шарил в тумбочке.

Достав из нее бутылку водки и половину черного, человек взглянул на вытаращившего глаза однокашника и хмуро спросил:

– Завтракать будешь?

Однокашник в ужасе замотал головой.

– Ну, не знаю, – несколько разочарованно протянул помбур. – Перед тобой был студент – тот завтракал...

Вообще говоря, бурение скважин – это тяжелая работа, связанная с использованием очень тяжелых предметов, инструментов и механизмов.

На буровой все так. Если бурильный стол – так семь тонн весом. Если двигатель – то танковый дизель, точнее – сдвоенный, а то и счетверенный. Таким двигателем Землю можно с места своротить, была бы точка опоры. Если труба – то бурильная труба (БТ) или, не дай бог, утяжеленная бурильная труба (УБТ). И

скручены они в свечи по три штуки и стоят почти вертикально на полстаметровой вышке, и страшно подумать, что будет, если хоть одна оттуда сверзится. И железка элеватора – восемьдесят килограммов, и каждую минуту помбур должен ее то открыть, то закрыть.

Поэтому руки у помбура – как у нормального человека ноги, ноги – как у слона, а единственный инструмент (из мелких), который он признает,

– это кувалда. Желательно пуда на полтора. Все прочие помбур презрительно величает "молоточками".

Кувалду помбур использует всегда эффективно, но не всегда разумно.

Однажды мы приехали на каротаж (см.), и, как это всегда бывает, буровая почему-то оказалась не готова. Я стоял недалеко от мостков, наблюдая, как два помбура сгружают с грузовика-трубовоза обсадные трубы.

Первый захлестнул их пучок стальным тросом. Второй стал управлять электротельфером. Когда пучок повис, его повернуло. Канат тельфера закрутился. Дело стало.

Первый помбур стоял под пучком труб и, задрав голову, недовольно смотрел на крюк и перекрутившийся трос. Второй с пультом в руках недовольно смотрел на первого.

– Тра-та-та-та-та? – энергично спросил первый.

– Тра-та-та-та-та! – так же энергично ответил второй.

На мой взгляд, им нужно было повернуть пучок, что казалось не столь уж трудным делом, и тогда процесс разгрузки мог бы развиваться дальше. Однако вместо этого второй помбур отложил пульт крана и взял кувалду. Схватился левой рукой за трос и взобрался на пучок.

Размахнулся и жахнул по канатному блоку.

Канатный блок брызнул осколками дюраля и развалился.

Трубы, испытывавшие напряжение стягивавшего их троса, мгновенно расправились и стали медленно падать на первого помбура. Вместе с трубами на первого помбура медленно падал и второй помбур – с кувалдой в руке и несколько озадаченным выражением багрового лица.

Первый помбур стоял неподвижно, а трубы, облетая его по сложным траекториям, с оглушающим грохотом, лязганьем и звоном рушились на стонущие подмостья.

Ни одна из них не задела первого помбура. И второй помбур тоже его не задел. И сам приземлился благополучно.

Все успокоилось и затихло. Только у водителя трубовоза, выглядывавшего из кабины, было совершенно белое лицо.

– Тра-та-та-та-та! – возмущенно сказал первый помбур.

– Тра-та-та-та-та!.. – ответил второй, махнув левой рукой.

В правой-то у него, понятное дело, была кувалда...

Попутчики

Я следовал пароходом из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск. Моим соседом по каюте оказался один милейший патанатом. Он увлекательно рассказывал о своих бесчисленных любовных приключениях, на мой взгляд, весьма рискованных в силу нечеловеческой бдительности его ревливой жены. Потом принялся давать подробные наставления, как мне вести себя по его прибытии в Комсомольск-на-Амуре. Его должны были встречать несколько женщин, не считая законной супруги, каждой из которых он вез небольшой подарок. При подходе к причалу патанатом высмотрел их и показал мне. Когда подали сходни, он бросился в объятия благоверной – блондинки гренадерского роста с добавочной башней на голове, – а я конфиденциально сновал в толпе, спеша, пока не отвалил пароход, раздать тайным возлюбленным платки и коробочки.

На следующей пристани в каюту деликатно постучал худощавый человек лет тридцати – с чемоданом, усиками и кульком семечек. Чемодан он сунул на багажную полку, семечками радушно угостил меня, а усы унес назад на палубу, предварительно пригласив с собой выпить пива и получив вежливый отказ, – пива я уже от пуза напился с патанатомом.

Я дремал, когда дверь с треском распахнулась и на пороге снова вырос мой новый попутчик. Он раздувал мокрые усы и сверлил горящим взглядом.

– Встать! – заорал он. – Я из угро!

Должно быть, имелся в виду уголовный розыск.

– Ты что, спятил? – спросил я оторопело, еще не подозревая, насколько близок к истине.

– Вста-а-а-ать! – надрывался он, шатаясь и брызжа слюной. – В химии сгною!

Я встал и вытолкнул его в коридор, что потребовало совсем небольших усилий.

Забравшись на свою полку, я с тревогой ожидал немедленного продолжения. Однако до того момента, когда слышался деликатный стук, прошло никак не меньше четверти часа. Дверь мягко отворилась.

Войдя, он приветливо улыбнулся и положил кепочку на столик. Мы поговорили о всяких пустяках, и я никак не мог поверить, что это тот же самый человек, что совсем недавно брызгал слюной и матерился.

– Ну что, пойти пивка, что ли, выпить, – задумчиво сказал он, когда беседа себя исчерпала.

– Не знаю, – протянул я, всерьез раздумывая, не отсоветовать ли ему это.

Через пятнадцать минут дверь открылась так, что из верхней петли вылетел шуруп.

– А, падла! – зловеще процедил попутчик, качаясь на пороге. –

Лежишь?! А я за тебя в болотах тлеть буду?! С-с-сволочь! Семечки лузгаешь! А ты их покупал?!

Он схватил меня за ногу и стал тянуть.

– Документы! – хрипел он при этом. – Д-д-д-документы!!

Дверь была раскрыта. Вылетая после моего пинка, он совершенно не пострадал.

Прошло совсем немного времени, и этот сумасшедший, аккуратно постучав, опять возник на пороге каюты.

– Не желаете? – с улыбкой спросил он, протягивая мне коржик.

Я в ужасе отказался.

– Ну ничего, – сказал он, откусывая от второго. – Я оставлю, вы потом съедите. Дорога-то долгая.

Неторопливо жуя, он рассказал забавную историю о своем начальнике, попавшем под денежный начет. Глаза чуть блестели. Он был причесан, умыт, тих,

вежлив, говорил о техникуме, о девушке Варе, о сложностях жизни, в которой никак не найти верной дороги без соответствующего образования, и по его серым глазам, которыми он грустно следил за хлюпающими в борт волнами, я понимал, что он ни в чем передо мной не виноват, потому что ничего про себя не помнит.

Короче говоря, это были доктор Джекиль и мистер Хайд в одном лице и в чистом, не замутненном литературой виде.

– Тут неплохое пиво, – сообщил он, смахивая крошки с усов. – Не выпить ли нам по бутылочке?

– Я не буду, – твердо сказал я. – Может, и вам не стоит?

– Да что там! – удивился он. – Время-то детское.

Когда он удалился, я поспешно собрал вещички, кинулся к стюарду, дал ему десять рублей и через пять минут уже запер дверь одноместной каюты.

Когда мы ошвартовались у пристани, до которой следовал мой безумный попутчик, я воровато проследил, как он шагает по сходням на берег, а затем поспешил в буфет и потребовал пива.

Первый стакан я подносил ко рту со странным чувством. До конца мне не верилось в это, но все-таки можно было предположить, что пиво, которое я пил с патанатомом, было еще нормальным, а в следующую партию неведомые вредители подсыпали специфического психотропного яду. И что, осушив этот стакан, я немедленно закричу петухом или пристану к буфетчику с вопросом, узнает ли он во мне Иосифа

Виссарионовича Сталина.

К тому времени, когда пароход гуднул, причаливая в Хабаровске, я осушил три бутылки – что вполне объяснимо при учете вышеописанного.

И могу поклясться, что в этом пиве не было ничего особенного.

"Почтовый ящик"

Институт радиолокации был "почтовым ящиком", то есть представлял собой закрытое военизированное предприятие с жестким пропускным режимом, мощным первым отделом, занимавшимся вопросами секретности, а также всеми иными прелестями такого рода заведений.

Примерно третья часть сотрудников ходила в форме с полковничьими, как правило, звездами на погонах.

Начальник седьмого отдела полковник Сергученко, солдафон и служака, заместителем которого был близорукий доктор физико-математических наук Шиллер, требовал от своих подчиненных соблюдения субординации и порядка. Любое нарушение этот старый солдат принимал так близко к сердцу, что оно ставило его буквально на грань апоплексического удара. В частности, было строжайшим образом предписано на телефонные звонки отвечать по-военному четко, то есть, подняв трубку, не мекать, не бекать, а докладывать определенно, например: "Инженер

Петров у аппарата!" Или, на худой конец: "Младший научный сотрудник

Сидоров слушает!"

Юра Костицын защитил диплом на физфаке МГУ (см. Вязанка дров) и был распределен в почтовый ящик. В день прибытия на место работы его принял доктор Шиллер и рассказал о проблемах, которыми занимается институт. Юра вышел из его кабинета и направился в отдел – большую комнату, где, в числе прочих шести, стоял отныне и его стол. Юра не был еще посвящен в тутошные порядки. Не знал он и того, как следует отвечать по телефону. И поэтому, когда аппарат зазвонил, он снял трубку и сказал интеллигентно:

– Алло!..

Случилась краткая пауза, за которой последовал яростный рев полковника Сергученко:

– Ты кто?!!

– Я? – переспросил Юра, а потом ответил тоном человека, который хочет обезвредить чужое хамство собственным юмором: – Я мышка-норушка, а ты кто?

Родословная

Я родился в г. Душанбе Таджикской ССР, ныне – Республика

Таджикистан, 4 августа 1955 года. Мой отец – Волос Герман

Степанович, геолог. Он умер и похоронен в Душанбе. Мама – Воропаева

Иветта Ивановна, окончила физмат Душанбинского пединститута, много лет работала в Институте химии, а потом в Институте сейсмологии АН

ТаджССР.

Инициатором ее французского поименования был дед. Поначалу он потребовал записать дочь под именем Вето. Регистраторша мягко удивилась и предложила Иветту, полагая ее более или менее равноценной заменой. Дед нехотя уступил. Двух своих младших сыновей он назвал вполне заурядно – Михаилом и Константином. Однако с течением времени в нем снова проснулась смутная тяга к необычному, и когда родился я, дед упорно настаивал на Велии. Возможно, если бы он сумел объяснить толком, что это такое – Велий, его предложение не было бы отвергнуто. Откуда все это возникало в языке родимых осин – ума не приложу.

Не назвали меня и Никитой – из опасения, что в стране, где правит

Никита Сергеевич Хрущев, это будет понято как проявление сомнительного верноподданничества.

В Таджикистан приехали жить и работать мои дедушки и бабушки.

Воропаев Иван Константинович, дед со стороны матери, родился в 1898 году в селе Нижняя Любовьша Орловской губернии. Вот что он писал о своей трудовой

деятельности в листке по учету кадров, заполненном в 1967 году:

С... По... Что делал

до 6.1916 года – трудился в хозяйстве отца;
6.1916 8.1918 – рабочий Криворожского рудника;
8.1918 2.1919 – стрелок, Волостной военный комиссариат; 2.1919 9.1920 – стрелок,
Уездный военный комиссариат; 9.1920 8.1923 – санитар 834-го военного госпиталя;
9.1923 8.1926 – учащийся, Елецкий рабочий факультет; 9.1926 2.1930 – студент Кубанского сельхозинститута;
2.1930 6.1932 – главный агроном района, затем старший агроном
Сарай-Камарской МТС...

Другой дед – Степан Иванович Волос, 1898 года рождения.

Конечно, корень этой фамилии можно возвести к Волосу Велесу Волесу Велосу – все эти прочтения возможны по причине отсутствия в древнеславянских текстах явных огласовок (см. Буквы),
– древнеславянскому богу скота и плодородия, то есть богатства.

Однако шутки на этот счет остаются всего лишь шутками.

Волос – это, скорее всего, тот же Влах, Волох и т. п., то есть выходец из Влахии, да и вообще из Западной Европы. Откуда именно явились предки деда, история, к сожалению, умалчивает.

В Таджикистан Степан Иванович приехал в том же тридцатом году, что и

Иван Константинович. Но познакомились они только в тридцать восьмом, когда оба оказались в Курган-Тюбе – один агрономом, другой почвоведом.

В начале лета сорок первого года Степан Иванович взял отпуск и поехал на родину. И попал в начало войны и едва унес оттуда ноги.

Вообще, существует версия, что Степан Иванович родился вовсе не в белорусской деревне близ литовской границы, под Друскининкаем, как писал в анкетах, а несколько западней. В середине или конце двадцатых годов он перебрался из панской Польши в СССР нелегально. И в глухоманный Таджикистан забрался именно для того, чтобы запутать следы. Когда в 1939 году восточная часть Польши была оккупирована советскими войсками, родина деда Волоса автоматически переехала в

СССР. Теперь он мог рассчитывать, что когда-нибудь ему удастся навестить родные места. Вот и навестил – только время выбрал неудачное... Он рано умер – сорока семи лет.

Его жена, моя бабушка со стороны отца, – Наталья Яковлевна Рязанова.

Вот строчки из ее автобиографии:

"...14-ти лет я была матерью взята из деревни в Саратов и поступила ученицей в переплетную мастерскую, где работала до 1918 года. Затем поступила в школьную амбулаторию и работала регистратором... В 1922 году меня командировали учиться на рабочий факультет при саратовском

Госуниверситете, который закончила в 1925 году, после чего поступила на медицинский факультет... После окончания (1930) была направлена врачом-терапевтом в совхоз "Пахта-Арал" Казахской ССР... В связи с переездом мужа в Таджикистан я была переведена на работу по его месту жительства в Джиликульский район Таджикской ССР..."

В начале пятидесятых она уехала из Таджикистана и вернулась в Саратов.

Другая моя бабушка - мамина мама Татьяна Федоровна Красовская - приехала в Сарай-Камар следом за Иваном Константиновичем.

Познакомились в Краснодаре, где она работала машинисткой. В

Таджикистане сделала сначала небольшую профсоюзную карьеру, а потом всю жизнь служила в партийных органах на мелких должностях вроде инструктора.

Роговая обманка

– Пожалуйста, – сказал профессор Шацкий. – Что бы нам такое... э-э-э... позаквыристей.

Помедлив, он протянул мне черный поблескивающий камень.

Это была роговая обманка.

Тоже мне – позаквыристей.

Я взял предложенный образец, лист бумаги и сел к столу.

Собственно говоря, я мог бы и не садиться – зачем? Это была роговая обманка, а про роговую обманку я знал все. Кой толк сидеть? К экзамену по минералогии я был готов так, как никогда не был готов ни к какому другому. Я мог бы ответить и без подготовки.

Но все же я сел и положил образец перед собой.

Да, это была роговая обманка.

Удельный вес 3,1 – 3,3. Твердость по шкале Мооса 5,5 – 6.

Я любил эти слова: твердость по шкале Мооса.

Я вообще любил минералогию. Она увлекала, как собирание грибов. Как будто по лесу шатаешься, проверяя свои способности к классификации

(см.). Что это? Давайте посмотрим. Трубчатый? Нет, пластинчатый. А цвет? Красно-коричневый. А юбочка есть? Юбочки нет. Это сыроежка. А это? Минуту. Пластинчатый? Нет, трубчатый. А шляпка? Коричневая. А испод? Зеленый. А сопливый? Сопливый. Это масленок.

Так и здесь. Подходишь к развалу – к широченному деревянному ящику.

Груда образцов. Что это? Сейчас определим. Какой цвет? Желтоватый.

А блеск? Блеск стеклянный. А твердость по шкале Мооса? Минуточку.

Ага. Твердость 3 по шкале Мооса. А хрупкий? Хрупкий. А тяжелый? Нет, не очень. Наверное, 2,5. Или 2,8 от силы. А с кислотой взаимодействует? Еще как! Ну, это просто. Это же кальцит! Сыроежка в мире минералов. Спайность совершенная, сингония тригональная, облик кристаллов – разнообразный.

Иногда такое попадает – поди разгадай, поди вспомни!..

Но мне все было знакомо. Это – жалкие обколотые кальцитовые розы.

Вот шелковистая гладкость змеевика. Загадочные письмена микроклина.

Благородная, прохладная твердость кварца. Океанская синева амазонита. Оранжевые огни циркона. Бирюза. Свинцовый отлив неподъемного галенита. О, вот он – фиолетовый, неземной пламень лабрадора! Скромная шершавость нефелина... Арсенопирит. Чилийская

селитра (см.). Ортоклаз. Галит... Бутылит (см.), в конце концов!

А мне попалась всего лишь роговая обманка – распространенный порообразующий минерал из группы амфиболов, силикат с цепочечным расположением кремнекислородных тетраэдров. Скромная такая каменюка.

Я про нее совершенно все знал. Содержание магния, алюминия, закисного и окисного железа непостоянно. Иногда в состав входят калий и титан. В виде примесей содержатся литий, стронций, марганец, никель, ванадий, хром. Да, и фтор еще. Все мне было известно про эту чертову роговую обманку. Кристаллизуется в моноклинной системе.

Кристаллы удлиненно-призматические, иногда волокнистые. Цвет зеленый, бурый или черный.

Спайность совершенная по двум направлениям под углом 124°. В горных породах обычно встречается в виде удлинённых зерен без правильных кристаллографических очертаний.

То есть просто, как дважды два. Я про каждый образец из любого развала пробарабанил бы все без запинки. Как про сыроежку. А уж про треклятую эту роговую обманку!.. Да как нечего делать. Составная часть многих интрузивных магматических пород: гранодиоритов, сиенитов, диоритов, роговообманковых габбро и других. Базальтическая роговая обманка отличается большим содержанием титана, при нагревании переходит в авгит, а при выветривании разрушается, образуя хлорит и глину. Все я про нее знаю, все. Что еще? Спутниками являются полевые шпаты, биотит, кварц. И другие минералы. Дальше?

Пожалуйста. Под действием гидротермальных растворов замещается хлоритом, эпидотом, серпентином. В результате выветривания образуются глинистые минералы, лимонит... лимонит, значит, и... Да, опал и карбонаты.

Проверить, что ли?

Я украдкой заглянул в шпаргалку.

Один в один.

Правда, в шпаргалке была еще и формула.

Кося глазом, я переписал ее на листок.

Вообще-то Шацкий формул не требовал. Да и никто, наверное, не требовал. Во-первых, они были слишком сложными. Во-вторых, это были приближенные формулы – ведь минералы не в лабораториях образуются, и от места к месту их состав несколько меняется. Тут такая роговая обманка, там – похожая, но все же другая.

Через пять минут я сел перед профессором.

И отбарабанил как по писанному.

А напоследок прочел формулу.

– Позвольте, – скучно сказал Шацкий.

Он взял мою писанину и перевернул лицевой стороной вниз.

А потом сказал:

– Тэк-с, молодой человек. Повторите, пожалуйста, приближенную химическую формулу.

– Формулу? – переспросил я. – Вы же не...

– Но вы только что изобразили, – с нажимом сказал Шацкий. – Стало быть, знаете. Прошу вас. Повторите. А если не знаете, значит, списали. И тогда – два балла. Справедливо?

И он вопросительно посмотрел поверх очков.

В глазах у меня потемнело. А в темноте появились горящие огнем знаки.

Я взял карандаш – и сомнамбулически повторил.

– Ну, молодой человек, вы даете, – крикнул профессор.

И поставил пятерку.

А формулу я помню и по сей день.

Вот она:

$\text{Ca}_2\text{Na}[\text{Mg}, \text{Fe}]_4[\text{Al}, \text{Fe}][(\text{Si}, \text{Al})_4\text{O}_{11}]_2[\text{OH}]_2$.

Русские

Я ехал поездом в Псков, и случайный попутчик, неглупый русский человек с институтским образованием, рассказывал мне, как важно оградить Россию от инородцев и о том, что вьетнамцы, негры и кавказцы обладают непостижимой для него способностью к размножению.

Мы расстались недовольные друг другом, и, трясясь затем автобусом по дороге в Михайловское, я никак не мог окончить наш нелепый спор.

Утро было волглым, неясным. Я рассеянно смотрел на мелькающие за окном зеленые, подернутые туманом перелески, выглядевшие акварельными набросками. Между прочим, приходил мне в голову очередной аргумент: основатель знаменитого русского рода и прадед А.

С. Пушкина был негром! Негром, да! Причем негром из самого сердца

Африки, как ныне вроде бы доказано, из Камеруна. Негром такого замеса, рядом с которым бледнеет сапожная вакса. И что же, Пушкин – не русский?!

То есть понимаете, продолжал я свою мысль (попутчик, похоже, наконец-то начал склоняться к тому, чтобы хотя бы выслушать меня толком). Понимаете, вопросы русскости никогда не решались и не могут решаться в России на основании анализа крови. И впрямь, ну какое значение имеет кровь и родословная в стране, где ордынец основывает

Ипатьевский монастырь, становящийся колыбелью трехсотлетней монархии? Дед одного гения – негр, другого – шотландец. Мать Петра

Андреевича Вяземского носила ирландскую фамилию О'Рэйли. В прозвании рода четвертого, Петра

Яковлевича Чаадаева, отчетливо звучит тюркское династийное слово "чагатай". Мать Жуковского – пленная турчанка. Кюхельбекер, в конце концов. Мандельштам. Далее – везде. А?

Я мысленно толковал своему призрачному железнодорожному попутчику, с которым уж давно разошлись наши пути, что русскость – как вино

(см.). Будучи запертым в бутылки, оно не способно порадовать; зато откупоренное, чтобы поделиться с собратом, пьянит осознанием общности и равенства перед лицом жизни и вечности.

Сам русский язык (см.) доказывает это! – жарко говорил я ему, столь преждевременно и напрасно растворившемуся в вокзальной толпе.

Родившись из невнятных лепетаний, вобрав в себя увертливую речь степи и жесткие формулы германских наречий, не отказавшись ни от одного из их завоеваний, но естественно перекроив добычу на свой салтык, он стал тем, чем является ныне, – мощным и точным инструментом, равно способным трактовать как грубые сущностные вопросы жизни, так и самые тонкие повороты человеческого сознания!

В конце концов мне удалось его убедить. Он согласился, что судьба

России (а может быть, и ее цель) – впитывать в себя тех малых, что теснятся вокруг нее когда в надежде помощи и добра, когда в бессмысленной злобе и яростном стремлении к обособленности. Чем с большей щедростью растрчивает себя Россия, тем больше в ней русского; чем с более глубоким пониманием братства всего человечества обращается Россия к миру, тем с большим уважением и преданностью мир смотрит на нее.

Он уже не спорил с тем, что русский путь – это путь света, равно дарящегося всем языкам и странам. И что вовсе не напряженная обособленность ради сохранения

русскости является целью русских; напротив – открытое распространение русскости на других.

Когда я заявил, что русская мечта – увидеть Россию всемирную, Россию всечеловеческую, истинный храм добра и братства, в котором на самом деле нет ни эллина, ни иудея, он окончательно понурился, а мне удалось перевести дух.

Автобус взобрался на горку, миновал синий дорожный знак с надписью

"Пушкинские горы" и весело подкатил к остановке.

Мы наконец-то простились, и попутчик, согласно кивая, навсегда растворился во влажном воздухе.

Я сошел на асфальт – и увидел трех таджиков (см.) в синих комбинезонах и оранжевых жилетах дорожных рабочих. У одного в руках была лопата, у двух других – ломы. Негромко галдя, они споро поправляли бордюрный камень.

Издалека на них доброжелательно поглядывал курчавый Пушкин.

Северный полюс

Один крупный сибирский бизнесмен решил баллотироваться в губернаторы одной сибирской области.

Для начала узнал, что почем, и нанял команду политтехнологов.

Политтехнологи сказали:

– Нужно отрабатывать имидж.

Бизнесмен был человек подвижный, не толстый, любил, бывало, и по озеру Байкал под парусом погонять, поэтому имидж решили отрабатывать в спортивной сфере.

Политтехнологи придумали несколько дурацких лозунгов, а также действие, которое должно было стать главным элементом избирательной программы: футбольный матч молодежных команд на Северном полюсе.

Жутко эффектная вещь.

Делать нечего. Бизнесмен нанял пару больших вертолетов, собрал друзей-приятелей из тех, кто не прочь был прошвырнуться, запаслись всем необходимым – и полетели.

Северный полюс, как известно, обозначен только на картах. А так – льдина и льдина. Время было летнее, солнце палит, температура – 14 градусов ниже нуля по Цельсию.

Летчики из вертолетов не выходили, так их сквозь стекла так нажарило, что они до трусов разделись.

А остальные по-быстрому раскинули армейскую штабную палаточку, столы расставили, официанточки (взяли пару миленьких) набросали всякого-разного. Потом спортсмены повязали друг друга поверх свитеров нагрудниками с синими и красными номерами. Поле

кое-как разметили. Ну и началось: камеры снимают, мяч летает, молодняк носится, судья свистит. Безветрие. Да и в палатку регулярно заглядывают – там только звон стоит да девчонки попискивают.

Поснимали свитера, потом и рубашки. Пар идет!

И в это время слышится дальний рев моторов... скрежет льда под полозьями... и вот из-за торосов выезжает вереница мотонарт.

Это были норвежцы – суровые люди с угрюмыми обветренными лицами, закутанные в меха и синтепон.

Они ехали на подвиг – на покорение Северного полюса.

Они выехали из-за торосов – и увидели эту картину.

Пьяненький судья, как на грех, свистнул невпопад.

Слова бессильны.

Воображайте сами.

Селитра

В 1969 году в Ташкенте случились антирусские выступления.

Началось на стадионе, когда ташкентский "Пахтакор" не то выиграл у

"Спартак", не то проиграл.

Теперь-то я понимаю, что и то и другое одинаково могло явиться поводом для антирусских выступлений. Более того: теперь я понимаю, что все может быть поводом ко всему, поскольку сравнительный анализ разных национальностей (см. Национальность) с целью указать на лучшие среди них страшно увлекает простые умы, заставляя их кипеть и волноваться. Мысль же о том, что национальный вопрос – это вообще такой вопрос, по которому что ни скажи, все глупость, не кажется им, простым умам, хоть сколько-нибудь интересной. Простым умам свойствен провинциализм сознания, который проявляется в бессознательной уверенности в том, что лучше всего быть русским (узбеком, татаринном, евреем, казахом и проч. – в зависимости от национальности субъекта), а жить – в Подольске, Чирчике, Бугульме, Хайфе, Алма-Ате и т. д., то есть именно там, где субъект ныне и проживает. Это искореняется только сильнодействующими средствами типа кругосветных путешествий или неоднократных эмиграций.

Со стадиона двинулись громить все подряд. На третий день, как водится, появились войска. В Душанбе доходили смутные слухи, их с восторгом обсуждали: "Из Москвы! Конная милиция! Как дали по башке!.. Это тебе не с нашими ментами базарить! У наших-то в кобуре вместо пистолета кусок лепешки!.."

Потом, по слухам, уже в таджикском городке Орджоникидзеабаде на первомайской демонстрации (см. Богачи) погиб польский корреспондент – ему и впрямь дали по башке его собственным фотоаппаратом...

Недели через две я возвращался из сада (см. Вино), шел по дамбе канала. Солнце садилось, далеко впереди в дымке вечера выжженные холмы перетекали в сиреневые вершины, над кишлаком Обигуль наклонными столбами уходили в розовое небо сизые дымы. Я шел по дамбе, по дамбе же, нагоняя меня, ехал трактор с прицепом. В прицепе тряслись кишлачные парни – должно быть, возвращались с работы.

Завидев меня, они принялись орать то, что принято было орать в таких случаях. Вообще-то обстановка на национальном фронте была мирной, но если случалось таджику (см.) и русскому (см.) повздорить, то русский таджика тут же награждал "зверком", а таджик русского -

"пилядью".

Кстати, насчет "зверков" существует столь же правдивая, сколь и анекдотичная история. Раздается звонок в Душанбинском институте сейсмологии. Секретарь берет трубку:

– Алло!

– Это Институт сейсмологии?

– Да.

– Здравствуйте. Это из зоопарка звонят... Моя фамилия Шакиров.

Скажите, ваши сотрудники могут прочитать лекцию о землетрясениях?

С хмыканьем:

– Что ж мы, зверям, что ли, читать будем?

Пауза. Потом обиженно:

– Почему зверям? У нас и русские есть!..

Я от греха подальше сбежал с дамбы и пошел низом, вдоль хлопкового поля.

Не думаю, что им хотелось меня убить. Убивать меня хотели в другой раз, когда мы с Лукичом и Федулом спустились к дороге на двадцатом километре Варзобского шоссе. Тоже был вечер, тянуло холодом от реки, горы синели, небо в зените было черным, и мы устали как черти, целый день протаскавшись по осыпям за тюльпанами. Река ровно шумела. Из придорожного ресторанчика доносилась музыка и таджикская песня.

Федул стал машинально подпевать. Я не понимал ни одного слова. Нас учили в школе таджикскому, но ведь нельзя ничему выучиться, если у ученика нет потребности учиться, а у учителя – учить. Автобус запаздывал. Я достал из рюкзака флягу и пошел к реке набрать воды.

Ноги гудели, хотелось снять ботинки, носки и сидеть на теплом камне, шевеля босыми пальцами. Хорошо, что я этого не сделал. Когда я вернулся к ребятам, возле них пытался стоять человек в синем с искрой костюме и мертвым лицом невменяемого. Я не понял, что случилось, – человек вдруг замахнулся на Федула. Это движение привело к потере остатков равновесия, и он повалился в пыль, безнадежно портя свой красивый костюм. Принужденно посмеиваясь,

Федул начал его поднимать. Из ресторана высыпали люди. Их было человек семь, и у каждого в руках что-то блестящее – ведь уже выползла большая равнодушная луна. "Ман тоджи-и-и-и-ик!.." – завопил

Федул. То есть: "Я – таджик!.." Это не было предательством – он просто хотел, вроде Маугли, пояснить: мол, ты и я – мы одной крови.

Но это не помогло. Национальные отношения отступили далеко на второй план. Они бежали к нам, нещадно вопя. Мы, оторопев, потеряли несколько секунд, и, когда рванули по шоссе, они уже хрипели в

самый затылок. Я обернулся на бегу и метнул флягу в ближайшего. Я не промахнулся. Тяжелая, полная ледяной воды фляга угодила ему в нос, он запнулся и рухнул. Я успел с удовольствием заметить, как он со всего маху проехался рожей по асфальту. Метров через пятьдесят сумасшедшего спринта они осознали, что нас не догнать, повернули и, горланя, побежали назад. Как оказалось, за машиной. Последующий час мы то бежали по шоссе, то ломились в кусты, чтобы спрятаться. Они визгливо перекликались: часть каталась вперед-назад на бортовом

"УАЗе", прочие рыскали по дороге, размахивая палками и ножами. Потом они отстали, а мы бежали, бежали по черной дороге, сопровождаемые белой луной. Ровно шумела река, покрытая в лунном свете скользкой чешуей. Мы бежали, бежали, бежали!.. Потом Лукича рвало... потом нас подобрал какой-то "рафик"... потом я увидел мать и отца – они потерянно стояли у подъезда, мать плакала, отец хмуро курил, был первый час ночи, и я покаянно соврал, что мы помогали отвезти в больницу человека, который сломал ногу.

А когда я шел по дамбе, меня никто не хотел убивать. Покричать, поизгаляться – это конечно. В прицепе возили удобрения, и молодые колхозники стали для забавы швырять в меня комками селитры. Меткости им, слава богу, нужно было еще поднабраться. Трактор ехал скорее, чем я шел. Я обернулся, чтобы прикинуть, когда они от меня отстанут,

– и комок калийной селитры величиной с мужской кулак... комок селитры!.. таинственная вещь, эти траектории!

Бах! – алая вспышка, мгновение беспамятства... Мыча от боли, я промывал глаз водой из грязного арыка. Изумленные лягушки заливисто обсуждали

происшествие. Потом кое-как добрался до города... мази, перевязки... ожог роговицы... тьфу, история!..

А между прочим, в таджикском языке (см.) есть специальное слово для обозначения очень красивых глаз.

Просто глаза – обыденные, сощуренные, расчетливые, вытаращенные, глупые, хитрые, моргающие, слезящиеся, а то еще, не приведи господь, и замусоренные чем-нибудь – называются "чашм".

А вот красивые глаза – как правило, женские; и не просто красивые, ибо где вы видели некрасивые женские глаза? а очень красивые женские глаза имеют совсем другое наименование: "шахло". В этом слове очень мягкое "х" – нежное такое придыхание.

В русском языке тоже много приметных слов. Например, родник – это просто родник. А вот ключ – это уже особенный родник: чистый, светлый, живой, сладкий, животворящий и чудный родник.

Можно привести и другие примеры.

И вот так сидишь, перебираешь слова и думаешь: ну что еще этим людям надо?!

Сосед

Невзначай встречаете его у подъезда вашего трехэтажного дома.

Дом загородный. Построен в деревне. Шесть квартир в подъезде.

Искоса посматривая, он начинает возмущенно и обиженно говорить, что нынче ночью опять кто-то бегал по крыше. А он, между прочим, живет на третьем этаже.

Вы согласно киваете: ну да, он живет на третьем этаже. А вы – на первом. В прошлом году крыша протекла, и он требовал, чтобы весь подъезд собрал деньги на ремонт. И вам пришлось сказать, что вы потому и поселились на первом, что не хотели иметь к крыше никакого отношения.

И что вы хорошо понимаете: его проживание на третьем этаже имеет как несомненный минус в виде протекающей крыши, так и несомненный плюс – роскошный вид из окон.

А из вашего окна площадь Красная видна – хотели вы еще добавить, но сдержались, потому что никакая не площадь, а магазин и помойка.

Он толстый. Задыхается и часто брызжет слюной.

Ваш молчаливый кивок он почему-то воспринимает как знак поощрения.

И он говорит дальше.

Вы и раньше примечали: он всегда норовит прямо с порога сказать вообще все, что знает.

В городе уже давно всем известно, что он только первый выстрел делает в воздух. Только первый. А уж второй – непременно в живот. И он советовал бы местным алкашам и беспризорникам поостеречься, потому что привычкам своим изменять не намерен, а

незнание его привычек не может избавить кого бы то ни было от ответственности. И что он им всем покажет, как показал тому-то и тому-то тогда-то и тогда-то, а также тому-то и тому-то тогда-то и тогда-то.

При этом так пронзительно смотрит, что вы начинаете сомневаться – уж не подозревает ли он, что это вы бегали ночью по крыше?

– Ага, – говорите вы, пытаюсь шагнуть в сторону.

Хватает за рукав.

Оказывается, он еще не все сказал. Правда, меняет тему. Толкует о необходимости соорудить автостоянку. Кивает на школьный двор неподалеку. Что, мол, он пустует. Мол, ему ничего не стоит договориться, чтоб его отдали под стоянку. С директором он поладит.

Телевизоры нужны? – нба тебе пять телевизоров! Видики нужны? – нба тебе пять видиков! И дело в шляпе.

Вы напрягаетесь, припоминая. Да, кажется, он торгует аппаратурой.

– Что? – спрашивает он грозно. – Не нужна стоянка?

– Почему же, – вяло отвечаете вы. – Отчего же? Я...

– У тебя машина-то есть?

– Ну да, – говорите вы несколько удивленно. Вам казалось, что вы это уже обсуждали. – Вот же.

И киваете на свою ржавую и мятую машину, криво притулившуюся у тротуара.

– Да нет же! Я же говорю – машина! Понимаешь? Машина!

То есть, догадываетесь вы, эту он за машину не считает.

Вам не обидно. Просто несколько удивительно. Сам-то он ездит на довольно обшарпанном "пассате". Тоже еще – машина!

– Нет, – говорите вы. – Нету.

– А!

Он яростно машет рукой, неожиданно
разворачивается и уходит.

Стоите озадаченный.

С досадой сплевываете и идете в другую сторону.

Союзы

Люди объединяются в различные Союзы. Это Союзы художников (см.

Художник), писателей (см.), театральных деятелей, дворян, водолазов, любителей Луны и проч. Союзы отличаются от клубов тем, что в клубы люди ходят, чтобы заниматься тем или иным делом

(разводить терьеров, кактусы, турусы на колесах). В Союзах никто ничем не занят, кроме поддержания жизнедеятельности самого Союза.

Однако, в отличие от клуба, принадлежность к тому или иному Союзу делает человека гораздо более значительной величиной, чем он был прежде.

Мне довелось присутствовать при разговоре двух немолодых писателей.

Они вспомнили какого-то обоим им известного Иванова. Иванов недурно, по их словам, пописывал и подавал надежды.

– А он, это, – рассеянно сказал первый. – Этот-то... Ну, этот, как его... Иванов-то этот... Он, это, ну... в Союзе, нет?

– Иванов-то этот? – призадумался второй. – Нет, он, это... ну как бы сказать... Нет, он, понимаешь, это... ну, знаешь ли, такой... – и радостно выпалил, найдя наконец нужное слово: – Самопишущий!

Специализация

Если сеть начинала барахлить, я первым делом звонил Тому.

Том приходил в чисто убранную комнату без окон, в которой размещалась наша группа, и начинал недовольно принохиваться.

Действительно, в искусственно вентилируемом воздухе явственно присутствовал запах озона. Поначалу я пытался настоять на том, чтобы компьютеры выключались на ночь, однако Дик Даглас (см.) растолковал нам логику, по которой выходило, что чем больше мы все вместе сожжем электроэнергии, тем больше придется ее произвести энергетикам, чьи дополнительные усилия благоприятно скажутся на развитии отрасли, а это, в свою очередь, неминуемо повлечет за собой подъем экономики в целом. Свет тоже горел по всему зданию днем и ночью.

Мы с Томом шли к кофейному автомату и для начала наливали себе по огромной кружке нормального "колумбийского". Нормальный

"колумбийский" кофе (см.) не оказывал на организм никакого действия. Его можно было пить ведрами без каких-либо вредных последствий, если не считать таковыми расстройство желудка и водянку. Предлагался также "колумбийский декофеинизированный". На мой взгляд, и нормальный-то "колумбийский" был в такой степени декофеинизирован, что о большем не стоило и мечтать. Однако многие американцы предпочитали все-таки именно его. По-видимому, они были убеждены, что "колумбийский декофеинизированный" не только не является источником кофеина, но, напротив, связывает это ядовитое вещество и выводит из организма.

Поставив чашку возле монитора, Том исследовал сеть и заключал, что, поскольку он, Том, является специалистом по сети второго уровня, а неполадка кроется, по всей видимости, в сети первого уровня, следует позвонить соответствующему специалисту, то есть Джону.

Затем он допивал кофе, мы сердечно прощались, и я звонил Джону.

Все начиналось сначала. В финале нашей встречи Джон, доброжелательно кивая, сообщал, что Том, специалист по сети второго уровня, ошибался, когда утверждал, что неполадка таится в сети первого уровня. На его, Джона, взгляд, неполадка кроется в сети третьего уровня, специалистом по которой является Стив.

Мы допивали кофе, Джон уходил восвояси, а я звонил Стиву.

Все это отнимало невероятное количество времени и сил. Работа стояла, и наша маленькая группа дружно скрежетала зубами, строя глумливые предположения, касавшиеся того, на котором именно звене завершится цепочка.

Резонно было бы предположить, что Стив тоже окажется специалистом совсем не той специализации. Однако именно Стив, грея ладони о большую кружку "колумбийского декофеинизированного", добродушно подтверждал мнение Джона, и не проходило и получаса, как сеть оживала и можно было приниматься за работу.

Так было во всем.

Поначалу это нас раздражало.

Дома, в Москве, каждый из нас являлся мастером на все руки. В нашей большой комнате с никогда не мытыми окнами, заставленной старыми мониторами, стеллажами с никому не нужными магнитными лентами, заваленной распечатками, как мартовская

опушка снегом, и настолько опутанной пыльными проводами, что невольно закрадывалась мысль о кружевных занавесочках, мы, вечно пребывавшие в единении и горячке, чувствовали себя настоящими хозяевами. Каждый из нас имел возможность думать сразу обо всем.

Здесь же, где никто никогда не спешил, а большая часть времени уходила на то, чтобы обмениваться меморандумами в попытках выяснить, кто именно является специалистом в той или иной области, ощущение жизни было совсем иным. Целое от тебя не зависело. От тебя зависела его малюсенькая часть. Меморандумы полагалось хранить, чтобы в любой момент иметь возможность фискально опереться на их беспристрастные свидетельства.

Однажды мы заговорили об отличиях русского и американского стилей работы с Биллом Мак-Колли. На фирме он был техническим писателем – строчил инструкции к программам, а дома обыкновенным – создавал романы о жизни европейцев в жарких странах. Подарил книжку. Я потщился прочесть, но в ней было слишком много сленга.

Мне хотелось растолковать Биллу, что работать так, как работают американцы, очень скучно. Ну что такое, в самом деле! Роль винтика отводится здесь человеку, вот что. А ведь человек – не винтик! В то время как у нас!..

Сказав это, я невольно осекся, потому что задался вопросом: если американский стиль так плох, то почему же здесь все так хорошо работает? Почему не бывает субботников, зато во всех туалетах всегда есть туалетная бумага? Почему ровно в 20.00 приходит здоровый веселый индеец Чарли с исправным пылесосом за плечами? Почему ботинки такие чистые, что все смело кладут их на столы друг другу?..

И еще тысячи и тысячи вопросов мгновенно пронеслись в моем усталом мозгу.

Через несколько дней меня подвозил Тэд – один из программистов. Мы разговорились.

– Давно здесь? – поинтересовался я.

– Третий год, – ответил Тэд. – Раньше-то я китобоем был на Аляске.

Лет восемь по морям шатался...

Я настолько не мог вообразить, чтобы кто-нибудь, прошатавшись восемь лет китобоем, станет программистом, что уставился на него, как на снежного человека.

– Что такое? – спросил Тэд, заметив мой взгляд.

– Нет, ничего... Про Аляску Джек Лондон много писал. Слышал? Очень интересный писатель.

Теперь Тэд воззрился на меня с недоумением.

Потом пожал плечами и ответил извиняющимся тоном:

– Понимаешь, я в этом деле не того... По писателям у нас Билл

Мак-Колли. Знаешь такого? Вот с ним поговори, он-то точно в курсе!..

Сплавные работы

По воде шум далеко разносится.

Поэтому мы их сначала слышали.

А потом уже увидели.

Шесть лодок шли по реке кильватерной колонной.

Такое не каждый день показывают.

Не "казанки" какие-нибудь там, на которых только волну поднимать.

Нормальные большие деревенские лодки. Моторы работали негромко, глуховато: тук-тук-тук-тук.

Это было внушительное зрелище.

Они взяли к берегу и, заглушив моторы, друг за другом ткнулись в песок.

Было слышно, как рябь плещет в борта.

Их было человек десять. И все с короткими баграми. Мне эти багры сразу не понравились – ну просто очень короткие багры. Что такими баграми делать?

Один, по-сплавски загребая сапогами и сутулясь, пошел к нам.

Я автоматически положил ладонь на рукоять крюка.

– Ну, здоров, – сказал он, подходя.

– Добрый день...

– Не знаю уж, какой добрый, – ответил он, садясь на бревно между мной и Борей.

Голос у него был сипловатый, а сам он... Ну, кто видал сплавских мужиков из пермских деревень, тот знает: высокий, широкоплечий, костистый. Пронзительные серые глаза, в которых никогда не тают ледышки. Желваки на худых, стянутых кожей скулах. Пантерья походка – загадочным образом перетекает из одной точки пространства в другую.

Достал папиросу, чиркнул спичкой, прикурил.

– Ну чё, мужики, катаете?

Мы пожали плечами. И так было видно, что катаем. Что еще могут делать шесть человек с баграми и крюками возле двух штабелей, выброшенных по весне высокой водою на берег да и увязших в речном иле? Только одно они и могут – катать бревна к воде, спихивать в реку, чтобыплыли, куда им положено.

– Как закрывают-то, ничего?

Он жестко зажевывал мундштук папиросы, постреливал сощуренными глазами то на одного из нас, то на другого.

– Да какой там ничего! – Вопрос про закрытие нарядов вызвал естественное оживание. – Плохо закрывают!..

Он сжал крупными зубами обслюнявленный мундштук, оторвал кончик и выплюнул. И спросил:

– Ну чё, мужики, а зачем вчера нашего Юрку в колодец бросили?

Молчание было ему ответом.

Потом я рассмеялся.

То есть мне совершенно не было смешно. Я рассмеялся от дикости его вопроса. И смех мой был скорее нервным, чем благодушным. Но должно же было напряжение как-то разрядиться!

– Нет, ну а чё ты лыбисся? – спросил он.

И встал.

Вчера мы привычно умотались, рано легли, рано встали, полчаса дремали на тряской скамье в шумном чреве водометного катера, норовя урвать еще минуту сна и потому то и дело валясь друг на друга, а теперь довольно весело раскатали два штабеля и сели на пять минут перекурить.

И вот нба тебе – зачем ихнего Юрку в колодец.

Потом-то мы узнали – точно, вчера вечером после танцев была драка, а после драки какие-то нехорошие продолжения, и Юрку Саломатина ударили чем-то сзади по башке. После чего для простоты кинули в колодец.

Где он должен был захлебнуться. Но он почему-то не захлебнулся. И когда пришел в себя и каким-то образом выбрался, то сказал, что дрался с кавказцами, которые строят коровник.

Но все это уже потом выяснилось.

Я тоже встал. И Боря встал. И те, у лодок, все разом встали и даже, кажется, немного подались вперед – ну, как подаются бегуны перед самым стартом.

Никто не говорил ни слова.

Пришелец поднял руку и ладонью провел по лицу, как будто хотел проснуться.

– Ну хорошо, мужики, – сипло сказал он. – Вижу, не вы... а то бы, конечно...

Он махнул рукой, повернулся и пошел к лодкам.

Через минуту они отчалили и двинулись дальше.

Стихи

Когда налетал ветерок, листва чинар шелестела, и круглые пятна солнца блуждали по колченогому столу с двумя мутными стаканами и солонкой. Я рассказывал, а в голове крутилось где-то подхваченное недавно: погодка-то какая валютная!.. валютная какая погодка!..

Зиё (см.) похудел. Он и прежде был худым, а теперь старый пиджак тут и там провисал на нем, будто стал на два размера больше.

Я поднялся, подошел к прилавку и взял еще по пятьдесят. В корявой алюминиевой миске горой лежала канибадамская редька, порубленная недоброй рукой чайханщика. Я прихватил несколько кусочков.

– Да, – сказал Зиё, когда я поставил стаканы на стол. – Давай выпьем! Давай!.. Ты помнишь, как мы сидели на этом самом месте лет десять назад? Помнишь?

Разумеется, я помнил.

– Давай, – сказал я.

Десять лет назад... Что было десять лет назад?

Зиё был молодым талантливым поэтом, а я переводил его стихи на русский. Это было очень важным делом. Он звонил мне и говорил:

"Слушай! Я написал стихи... там такой образ... тебе понравится!..

Мои взгляды превращаются в бабочек... понимаешь? И когда она идет, вокруг нее все время вьются бабочки! бабочки! порхают возле лица! возле груди!.. и она удивляется: откуда столько бабочек? А это просто мои взгляды!.. Переведешь?" И я бросал все другие дела, потому что мне хотелось это перевести, и переводил, и снова мы не могли нигде ничего напечатать.

Потому что про бабочек было неактуально.

Что еще было десять лет назад?

Зиё притаскивал кипы подстрочников, и мы читали их вместе вслух – звонить из Москвы в случае каких-либо неясностей было накладно.

– Что это значит? – спрашивал я, раздраженный мыслями о том, что всю эту бессвязицу мне придется излагать чеканными ямбами... анапестами... хорями... или руководствуясь надписями на полях:

"Свободное стихи но имеет ритмы и рифмы".

В подстрочном переводе они выглядели ужасно. Только моя вера в Зиё позволяла сохранять убеждение, что стихи все же хороши! что я подниму их из пепла, и бабочки полетят по-русски!

– Найди ты себе человека, который хоть немного знает русский язык!

Кто это переводил? Отставной парикмахер? Что это значит: "Глаза твои имеют пение синими огнями души"? Это просто бред сумасшедшего!

– Почему? – обижался Зиё.

– Потому что нормальные люди так не говорят! Где оригинал? Дай оригинал! С оригинала буду переводить!

– Ты не знаешь язык (см.) в совершенстве, – вздыхал Зиё.

– Ах, я не знаю язык в совершенстве?! Ну и что? Подстрочника хуже, чем этот, я бы все равно не сделал!

– Подожди! Ну что ты кричишь?..

Вздыхая, Зиё раскрывал свою таджикскую рукопись и начинал в ней копаться с тем озабоченным выражением лица, с каким собаки роют норы.

– Сейчас, сейчас, – бормотал он. – Где-то здесь... что-то не могу найти. Сейчас, сейчас...

Текст не попадался, а искать ему надоедало, и тогда он отшвыривал папку и говорил возмущенно:

– Нет, а что здесь непонятно? По-моему, все понятно!

Выхватывал у меня страничку с обсуждаемым куском подстрочного перевода и заунывно выпевал, надеясь, видимо, красотой произношения поднять возможности моего слабого мозга до уровня понимания этих простых вещей:

– Глаза-а-а-а твои име-е-е-ют пе-е-е-ение си-и-иними огнями души-и-и-и!..

...А потом стихи Зиё пошли на "ура"... а потом началась война и разруха, и вообще все на свете стало неактуально.

Мы выпили. Редька хрустела. Сочная была редька.

– А знаешь, – задумчиво и печально сказал Зиё, покручивая в пальцах пустой стакан. Я бы знаешь что?.. Я бы взял вот так... – Он поднес его ко рту. – Взял бы вот так сердце каждого из них... и пил бы кровь... понемногу... по капельке!..

Губы его подрагивали.

Что я мог сказать ему? "Бедный Зиё! Из кого ты можешь пить кровь! Из тебя самого выпили всю кровь!.."

– Да уж, – сказал я вместо этого. – Десять лет!.. Как будто сто лет прошло.

Так мы провели еще полчаса. Потом Зиё заторопился.

– Да ладно, – сказал я. – Посиди спокойно пять минут. Что тебе эта редакция! Тоже мне – газетчик! Эти ваши газеты мне даже задницу раздражают. Лучше бы стихи писал!

Я сказал это и тут же понял, что мою невеселую шутку нельзя назвать удачной.

Зиё странно посмотрел на меня.

– Э-э-э! Ты еще помнишь, что я писал стихи? – спросил он, усмехаясь.

- Ты последний человек, который помнит, что я писал стихи. Кто еще здесь помнит, что было время, когда мы писали стихи?

Стоп-кран

Мы с Борей возвращались со сплавных работ (см.). Стояла жара и бескормица, особенно заметная в те годы страннику. Нищий город

Соликамск, в котором мы оказались после долгого путешествия из камской глубинки на перекладных, выглядел полуобморочным и зыбким.

Храмы с серыми куполами на длинных тонких барабанах только подчеркивали это ощущение.

Поезд тоже был заплеванным, серым – простой пассажирский поезд, тормозивший у каждого столба, а на больших станциях – где-нибудь на задворках. Проводницами выступали две мелкие девчушки. Они, как выяснилось, учились в соответствующем ПТУ и проходили производственную практику. Немногочисленные пассажиры (мы, например, ехали вдвоем в четырехместном купе) тускло смотрели в немытые окна и негромко ворчали насчет туалетной грязи. В коридоре тоже не мешало бы подмести. Впрочем, когда возвращаешься, все это уже почти не играет роли.

Поскольку мы с Борей не ворчали, а, напротив, оказывали юным проводницам знаки внимания, скоро они совсем забросили свои дела, сунули веник под нижнюю полку и перестали заботиться как о проверке билетов, так и об открывании дверей на станциях и полустанках.

Последнее неоднократно вызывало тарарам, производимый каким-нибудь случайным и совсем необязательным пассажиром, который вместе со своим облезлым чемоданом бился о бездушное железо либо с той, либо с другой стороны на какой-нибудь минутной стоянке.

Забыв об исполнении должностных обязательств, девушки полдня просидели в нашем купе, ошалело слушая необязательный треп под перебор гитарных струн.

На какой-то станции мы решили пробежаться до станционного буфета.

Когда мы вышли обратно на перрон из дверей вокзала, овеянного запахом хлорки и кислого борща, последний вагон нашего поезда, уныло погромыхивая, опережал нас метров на двадцать.

Мы ринулись за ним.

Неожиданно поезд подпрыгнул, осел и остановился. Кто-то сорвал кран тормоза.

Понимая, что в любую секунду мы можем подняться в любой вагон, из дверей которых выглядывали удивленные кондукторши, мы спешили к нашему собственному – второму по счету от головы состава. Я помахивал двумя бутылками кефира, а Боря – куском неожиданно добытого колбасного сыра.

Между тем поезд совершал попытки двинуться дальше. Но, не проехав и метра, снова подпрыгивал, шипел и лязгал всеми суставами.

Мы поднялись по ступеням тамбура и оторопели.

Огромный, жирный, синий от ярости в цвет мундира, изрыгающий матюки начальник поезда пытался оторвать от стоп-крана одну из наших проводниц.

Это ему не удавалось.

Отбиваясь от него ногами и одной рукой (вторую она использовала, чтобы виснуть на железяке), она с плачем кричала:

– Они отстали!!!

Так что, короче говоря, те, кто утверждает, что женщины не способны на самоотверженность и отвагу, просто-напросто ничего в них не понимают.

Таджики

Во времена моего детства и юности Душанбе (во всяком случае, его центральная часть) представлял собой почти совершенно русский город.

В моем школьном классе учился только один таджик – по имени Фарход и по кличке (см.) Федул. Он был надежным звеном нашей дружеской цепи, но ничего специфически таджикского через него в нашу русскую жизнь не поступало. Сам он, как теперь сдается, не любил разговоров о чем бы то ни было, касавшемся его национальности, а нам и в голову не приходило поинтересоваться, каков уклад таджикской семьи, или нахвататься между делом его родной речи. Нам его родная речь была совершенно ни к чему. Напротив, само собой разумелось, что таджикам следовало учить русский. Тогда это выглядело аксиомой. Позже я понял, что имел дело с финальным аккордом теоремы. Логические обоснования ее доказательства сводились к тому, что через русский язык лежала дорога к образованию, карьере и европейскому стилю жизни

(если можно так выразиться, рассуждая о делах советской эпохи).

Почти все сведения о таджиках поступали к нам через взрослых.

Конечно, взрослые тоже не знали языка, не интересовались чуждым народом, очень удивились бы, услышав, что в подобном интересе нет ничего зазорного, и нашли бы множество аргументов, чтобы доказать обратное. Для них жизнь таджиков тоже текла как бы за стеклянной стеной, из-за которой не доносилось ни единого живого голоса. Однако им все же приходилось контактировать с таджиками по

работе, и умозаклучения, сделанные ими после этих контактов, тем или иным образом перетекали к нам.

В результате складывалось впечатление (оно было очень смутным, это впечатление, ведь никто не был озабочен тем, чтобы ясно выразить его), что народ таджиков – это народ-инвалид, который без русских не может сделать и шагу. Народ-слепец, поводырем которого являются русские. Народ-ребенок, без взрослой русской помощи не способный даже на самые простые решения и действия. Народ, сплошь состоящий из безответственных, хитрых, неряшливых торгашей, за которыми, как говорится, глаз да глаз. Может быть, я не совсем точно передаю это впечатление – в нем много оттенков, иные из которых противоречили друг другу, – но в общих чертах похоже. По большей части все это были проявления наивного национализма (см.).

Надо отметить, что в нашей семье каждый выезд за пределы

Таджикистана (это происходило во время родительских отпусков) приводил к некоторой перемене во взглядах, и та глубокая уверенность, что в России лучше и русские лучше, да хоть бы даже и не лучше, а все-таки они русские и уже одним этим несказанно хороши, несколько скукоживалась. Вера сталкивалась с мелочной практикой и, как это часто бывает, давала трещину.

Так, например, однажды в городе Саратове отец увидел, как грузчик, скинув с борта грузовика мешок с огурцами к порогу овощного магазина, тут же на этот мешок сел и стал неторопливо закуривать.

Отец, весь прежний опыт которого, почерпнутый на таджикских базарах, говорил ему, что человек никак не должен и никак не может сидеть на мешке с огурцами, обеспокоился их судьбой и, обратившись к грузчику, спросил:

– Мужик, ты что ж это на огурцы-то сел?!

На что тот, повернув голову, невозмутимо ответил:
– А на каво я сяду? На тебя, что ли?..

Потом все переменялось. Таджикский народ взял, как говорится, свою судьбу в собственные руки. Разумеется, это привело к огромным несчастьям, жертвам, подлости и обманам. Однако стало понятно, что судьба его – вовсе не судьба инвалида или слепца. Точнее, такого же слепца и инвалида, как все народы, неспособные оградить свои интересы от посягательств сильных мира сего. Как все. Ничуть не слепее и не инвалидней.

Зато русские, брошенные Россией на произвол судьбы в пылающем

Таджикистане, оказались хуже детей, и не было, насколько мне известно, ни одной попытки разумного объединения и выдвижения лидера, способного на равных вести разговор со стихией.

Только бегство! – причем бегство унижительное, неподготовленное, бегство в русские края – да, русские, но источавшие преимущественно враждебность и неприятие: "Ишь понаехали!.."

Мама и бабушка покинули Душанбе в 1995 году.

И теперь, когда на фоне воспоминаний о чисто метенных улицах, о мальчишках с ведрами и вениками, брызгающих водой на плотную глину, чтобы подмести ее снова, и о многом, многом, многом, что составляло

Атлантиду (см.) нашей тамошней жизни, – когда на фоне этих воспоминаний мимо окна с шумным шорохом проносится пакет с мусором, брошенный с какого-то верхнего этажа, чтобы пополнить богатства загаженного газона, мама, подняв на меня возмущенные глаза, разводит руками и говорит:

– Ну честное слово! Хуже таджиков!

Таможня

Побродив пару часов по Эрмитажу и столкнувшись со мной в одном из залов, Бонни сказала, морща свой небольшой нос:

– Ты знаешь, по моим прикидкам, здесь находится не менее десяти тысяч человек.

– And what? – спросил я, раздраженный июльской духотой и необходимостью продолжения осмотра.

– И только несколько из них принимали утром душ, – закончила она.

– Ха-ха, – жестко сказал я.

Утром в гостинице, посмотрев, каких яств я набрал со шведского стола себе в тарелку (жареный бекон, три яйца в виде глазуньи, четыре поджаристые немецкие колбаски, картофель фри, два ломтя хлеба и пирожок с повидлом), она заметила, что это похоже на рекламу инфаркта.

Бонни была американкой американского происхождения, а Лена – русского. В Питере обе они демонстрировали сногшибательное чувство юмора, которое следует, вероятно, называть чисто американским.

Однако когда мы вернулись в Москву и поехали на измайловскую барахолку (рука не поднимается написать "вернисаж") смотреть ковры

(см.), оно, это чувство юмора, моментально трансформировалось в чисто русское.

Через десять минут после нашего появления ковровый базар заволновался, почуяв настоящих покупательниц. Эти две роскошные долларовые дамы просто свели всех с ума кажущейся доступностью своих кошельков. Правда, я еще нервничал и пугался, когда

разгоряченные усатые азербайджанцы начинали теснить моих неопытных спутниц с яростным криком:

– Мадам! Посмотрите на этот сумак!

Однако мои опасения были напрасны.

Три или четыре часа я, скучая и позевывая, таскался за ними от одной цветистой груды рухляди к другой, наблюдая, как они выкручивают руки несчастным негоциантам. Прием был, собственно говоря, один. Бонни, пиная изделия старых мастеров тонкой ногой в желтом ботинке, клекотала что-то по-английски. Насколько я мог разобрать, она несла какую-то необязательную чушь. Лена переводила, то есть выказывала решительную заинтересованность в покупке, почти не сомневалась в разумности предложенной цены и доброжелательно принимала рекламные речи кавказца. Когда последний уверялся, что до момента совершения сделки осталось не более минуты, парочка решительно разворачивалась и без каких-либо объяснений уходила к конкуренту.

К трем часам пополудни на этом чертовом базаре уже все стояло вверх тормашками. Несколько торговцев едва не подрались. Один – последующее развитие событий показало, что он оказался слишком слабонервным и вряд ли мог рассчитывать на успех в таком рискованном деле, как торговля коврами, – сидел на своих килимах и безутешно плакал. Когда вдобавок я понял, что уже безошибочно отличаю чистую шерсть от шерсти с шелком, "иран" от "афгана", "йомуд" от "теке", а "герат" от "наина", мне стало казаться, что мое участие в этом празднике ковротачества несколько затянулось. Я деликатно сказался голодным и удалился, сменив радости мусульманского искусствоведения на порцию свиного шашлыка и кружку пива.

Вернувшись, я обнаружил, что они продолжают мастерски нервировать и так уже совершенно деморализованных продавцов.

К счастью, рынок закрывался. Отметив про себя, что мои спутницы так ничего и не купили, и усмехнувшись интернациональности (см.

Национальность) человеческой скаредности, я захлопнул дверцу со словами, выражавшими уверенность в том, что, поскольку до их отбытия осталось не так много времени, завтрашний день мы проведем в

Третьяковке или ЦДХ.

– Поехали, поехали, – не очень любезно сказала Лена.

– What does he say? – спросила Бонни.

Ей никто не ответил.

В десять часов тридцать семь минут следующего утра мы высадились на прежнем месте.

Дамы были как никогда бодры.

При их появлении ковровый рынок тоже стал казаться несколько взвинченным.

Понаблюдав происходящее в течение получаса и оценив завидную стабильность исполнения, я удалился в уже известное мне место.

Холодное пиво значительно скрасило часы ожидания.

К моменту нашего отъезда базар выл, содрогался и даже, кажется, проклинал. Но если и проклинал, то очень, очень осторожно: мадам могли услышать. А в том, что они не припрутся сюда еще раз, никто не мог поручиться. Даже я.

Назавтра мы появились в четырнадцать часов тридцать семь минут.

Продавцы безмолвствовали, будто сговорившись. Возможно, так оно и было.

Однако Лена сухо объявила, что ее американская подруга отбывает завтра и хотела бы все-таки напоследок прикупить какую-нибудь пустяковину.

Большого сумасшествия я не видел никогда в жизни.

Мы за бесценок купили в общей сложности сорок шесть ковров. Их оптовая стоимость по ценам американского рынка составляла примерно триста пятьдесят тысяч долларов.

Это были не все приобретения. Бонни приглядела летчицкий костюм – весь в веревочках и с гермошлемом, в каких лет сорок назад отчаянные храбрецы добирались до стратосферы, деревянную облупленную коробку со стеклом – киот и два флага – копеечный холщовый вымпел размером

АЗ, на котором блеклой синей краской было отштамповано что-то военно-морское, и титаническое плюшевое полотнище с золотой бахромой и золотой же тканой надписью, касавшейся производственных побед и профсоюзного движения.

Следующим утром мы с шофером выгрузили пожитки на серый асфальт у дверей аэропорта "Шереметьево-2".

Их пыльная груда тут же привлекла внимание грузчика в синем комбинезоне. Он подошел ко мне и заинтересованно спросил:

– Таможню будете проходить?

На мой взгляд, это было дело совершенно безнадежное, поэтому его участливость показалась мне глубоко человеческой.

– Будем, – сказал я.

– Ну-ну, – сказал он.

– У нас документы! – заявила Лена.

И предъявила стопку бумажек, купленных рублей за пятнадцать на том же базаре. В каждой бумажке говорилось, что ковер такой-то не представляет собой исторической и художественной ценности. На каждой же красовалась печать "ООО "Тигрис" (см. фирма).

Грузчик скривился и буркнул что-то про малых детей.

– Есть какие-нибудь предложения? – поинтересовался я.

Он пожал плечами. Мы отошли в сторону, я снабдил его необходимой информацией, и он удалился.

Объявили регистрацию.

Посмотрев на часы, Бонни, непреклонно постукивая подошвой желтого ботинка, заметила, что ей наплевать, улетит она сегодня или нет, – она человек свободный.

Вернулся грузчик и негромко сказал мне:

– Девятьсот.

– Долларов? – уточнил я.

Сумма показалась мне смехотворной.

– Ну не тугриков же, – сказал он.

Я передал это Лене:

– Девятьсот, – сказал я. – Не тугриков.

– А если это мультка? – спросила она после секундного раздумья.

Я пожал плечами. Лучших вариантов все равно не было.

Дамы долго шуршали бумажками.

Получив запрошенную сумму, грузчик снова ненадолго исчез, а вернулся не один – за ним катила вереница телег, ведомых его напарниками.

Когда мы подъехали к таможенному пулу, толстый усатый таможенник в зеленом кителе терзал какую-то старуху, добиваясь от нее признательных показаний. Разделавшись с ней, он поднял глаза и грозно спросил:

– Это что за караван?!

Щебеча что-то про милых русских мужчин, Лена протянула паспорта и билеты.

Бумаги его совершенно не заинтересовали. Он уже драконил тюки, выхватывая их один за другим и задирая края, как юбки.

– Ковры?! – рычал он, по-собачьи трепля очередной.
– Антиквариат?!

Это что? Иран? Конец девятнадцатого? Да вы с ума сошли! Это что?

Теке?! Вы сдурели, что ли?!

Я взглянул на Лену – она помертвела. Самому мне тоже было не по себе.

– Народное достояние?! – бесился таможенник, скача от телеги к телеге. – Вывозить?! Это что? Персия? Чистый шелк?! Вы что же думаете?! Это что? Йомуд?!

Но вот он выхватил из-под очередного тюка летчицкий костюм и обернулся к нам с таким онемелым видом, будто нашел труп.

– Военное имущество?! – рявкнул он, когда дар речи вернулся. –

Стратегические тайны?! Это не поедет!!!

И сунул костюм мне в руки.

Затем ему попался дурацкий военно-морской флажок.

Таможенник заскрипел зубами и с ревом швырнул его мне.

То же самое случилось с облупленным киотом.

Я думал, что профсоюзный флаг тоже не сможет пересечь государственной границы. Однако, молча развернув, таможенник так же молча бросил его на телегу.

– Что делают! Что делают! – говорил он затем плачущим голосом, листая паспорта и стуча печатью. – Военно-морское! Стратегическое!

Антиквариат!..

Потом горестно махнул рукой – и мы поехали дальше.

То есть поехали не все.

Я остался за желтой чертой.

В руках у меня был летчицкий костюм 1957 года, никому не нужная деревянная коробка и голубой

вымпел.

Лена позвонила минут через сорок и сообщила, что на регистрации

Бонни взяла дело в свои руки. Сначала она выторговала скидку на оплату полутонны излишнего веса, а затем предложила двести долларов за то, чтобы их посадили в салон бизнес-класса.

– Ничего себе! – сказал я. – И вас посадили?

– Ну да, – ответила Лена. – Бонни говорит, что она всегда так делает, когда бывает в Бангладеш и Суринаме.

Труба

Улыбается. Качает головой.

– Вот, знаешь, была со мной такая история... Ха-ха!..
Я тогда тоже в

Быках жил, но не в том доме, где печь (см.) в порядок приводил, а в другом. Печка там тоже, естественно, была. И вот, представляешь, втемяшилось мне, что у нее труба падает. И никуда от этой мысли не деться. Ежеминутно вспоминаю, нервничаю, сам себя уговариваю – мол, перестань, отчего же ей падать? Подойду, посмотрю – черт возьми, а ведь вроде как еще чуток покосилась!.. Ты представляешь, что такое, если кирпичная труба рухнет? Она ведь чуть ли не тонну весит. А?

Сколько, по-твоему?

– Не знаю.

– Вот и я не знаю. Но уж не меньше тонны, точно... В общем, смотрел я, смотрел – и уверился, что она падает. Все, падает! Хоть в дом не заходи. Того и гляди рухнет! Уж хотел в кухню переселиться – там во дворе сараюшка такая стояла... Пошел к одному мужику – он печник.

Так и так, говорю, у меня вся труба к едрене-фене перекосилась, надо там один кирпичик выбить, чтобы она выправилась, поможешь? А что не помочь – взял он инструмент, пошли ко мне...

Задумывается.

– Ну?

– И вот, понимаешь... представь, как я убежден был: он даже не засомневался! Я ему кирпич показал, который выбить надо. Он голову задрал, на трубу посмотрел, потом на меня как-то так неуверенно. Да,

говорит, странное дело... Повозился минут пять – и выбил кирпич!..

Как она хрупнет! Как на чердаке что-то заскрипит! Как он отскочит! А я-то вообще ни жив ни мертв – ё-мое, думаю, это что же я такое наделал?..

Качает головой.

– И что?

– Да ничего. Он постоял, покашлял, потом вышел молча – и все. А я подпорочку нашел березовую, подпер... Ничего, стояла. И я, главное дело, успокоился. Понял, что – ничего, не падает!.. Урегулирование

Лейтенант Ремешков часто произносит звук, который трудно передать на бумаге. Что-то вроде сдавленного бульканья. Примерно как – бм!

Натура лейтенанта требует выражения, а выражаться по-привычному ему не позволяет форма. Бм! – и все выражение.

– Да что ж, бм, разве до утра не могли дотерпеть!

Сидим в сумрачной по раннему утреннему времени горнице. Я делаю более или менее отсутствующий вид. Кососеев горбится на лавке и смотрит в сторону.

– Да вот не хватило маленько... завелись... ни в хомут, ни в шлейку,

– с натугой отвечает он и горестно разводит руками.

– Я ж тебе говорю: я к Райке пошел... честь по чести, постучал, так и так, говорю, Раиса Пална, шурин с города наехал... Мол, жалеть вина – не видать гостей... Уж, говорю, по такому случаю не могли бы... – нервно сглатывает, – поспособствовать... а уж мы-то, мол, в долгу не останемся... мужик за спасибо семь лет работал.

– Ну! – нетерпеливо говорит лейтенант Ремешков.

– А она чуть не по матушке меня... дескать, будят всякие... Нет, ну ты скажи, Вася, ну как так можно, а? Это что ж?! – Кососеев поднимает на Ремешкова

страдальчески сощуренные, мутные с похмелья глаза. – Ну что она, в самом деле! Или я бандит какой! Или вор-грабитель! Разве нельзя было по-соседски, по-хорошему!.. А она вон чего: невзначай – как мордой об стол!

И, сжав кулак, стукнул по лавке.

– И вы, значит... – снова взбадривает его Ремешков.

– Ну а мы... чего... Я говорю шурина – так, мол, и так, говорю, не хочет открывать торговую точку... видишь, какое дело... Ну, ему сцы в глаза – все божья роса: ладно, говорит, Леха, пошли тогда спать... утро вечера мудренее... А я говорю – спать? Нет, говорю, тут кость на кость наскочила! Вот вам, говорю! Скачи баба хоть задом, хоть передом, а дело, говорю, пойдет своим чередом!.. Шурин меня хватать!

Ты, говорит, черт карамышевский! Я ему по ряшке... не учи плясать, я и сам скоморох! Иди, говорю, теля, ночуй, я мигом...

Кососеев замолкает.

– Ну и?..

– Да ты же знаешь! Пошел один... У баньки взял колун... ну, думаю, пытки не будет, а кнута не миновать... да и сшиб засов... видимость одна, что засов... Ну что я тебе скажу, Вась! Пьяный был...

– Понимаю... – тянет Ремешков. Чиркает спичкой, прикуривает и в сердцах крепко бьет коробком об стол.

Кососеев сокрушен.

– Ну и... позаимствовал пять бутылок... и пакет еще, чтоб не в руках...

Молчание.

– Дела... Дверь-то починил?

– Вчера еще! И деньги принес, и засов поправил... две скобы забил – трактором не оторвать... А она стоит – руки в боки, – ты, мол, колоти, колоти! все равно по тебе тюрьма плачет!.. Денег брать не хотела – мол, откуда я знаю, пять бутылок ты взял или пятьдесят

пять! Теперь, говорит, ревизию надо!.. Да мне что! Я что взял – вернул, что поломал – сделал, а там хоть трава не расти...

Опускает голову почти до колен.

– Дурак ты, Леха, – говорит лейтенант. – Нашел, бм, приключений... В сельсовет-то ходил?

– Ходил, – вздыхает Кососеев. – Там-то нормально... Валерьян поругал... мол, в миру как в пиру... разбирайся, говорит, а мне, говорит, чтоб ты по отсидкам шастал, невыгодно...

Он торопливо потирает ладонью рот, будто наелся чего-то кислого, и жалобно спрашивает:

– Заберет она заявление-то, Вась?

Ремешков с утробным свистом тянет папиросный дым и щурится.

– Это если б ты ей спьяну плетень повалил, – строго отвечает он, – тогда гадали бы – напишет, не напишет, заберет, не заберет... А тебе вон чего взбрело – магазин, бм, подломить!

Кососеев хватается за голову и мычит, раскачиваясь на лавке из стороны в сторону.

– Ладно, ладно... – бурчит Ремешков. – Погоди выть-то, не баба...

Разберемся.

Выходим на улицу.

– Что, и туда тебя вести?

– Обязательно, – говорю я лейтенанту.

Он вздыхает и смотрит на солнце.

– Ну ладно, пошли... писатель.

До Райки-магазинщицы рукой подать.

– Люди-то живые есть? – весело кричит Ремешков, приотворяя дверь. –

Али, бм, померзли все, как тараканы?

Нас встречает полная цветущая женщина.

– Ой, – восклицает она, смеясь. – Василий Петрович! Защита наша и законность! Ну прямо на пороге меня

поймали! А это кто ж с вами?

– Из района, – со значением отвечает Ремешков. – Да мы на минуточку.

Зайти-то можно? А то ведь как: чуть что – защита и законность, а в избу пустить – так, бм, мент поганый!

– Ну что вы, Василий Петрович! Как можно! – Раиса всплескивает руками. – Заходите, заходите! Через полчаса должна машина заехать... все ж на мне, Василий Петрович! И снабжение, и отчетность! голова кругом идет!

– Да уж... Дело хлопотное, конечно... да еще вон эксцессы какие! – машет рукой и хохочет и, хохоча, продолжает отмахиваться – будто это смешное маячит перед самыми глазами.

Заходим. Ремешков раздевается и основательно садится за стол. Я – в уголок.

– Что ж смешного! – говорит Раиса, присаживаясь напротив лейтенанта и складывая руки на животе строгим жестом беспристрастного свидетеля. – Это сегодня он сломал да украл, а завтра что же? украдет да подожжет, чтоб концы в воду? да мне еще поленом по затылку?

– Ну, ну! Лешка-то Кососеев? Да он же смирен, как овца! Подожжет!

Что вы, Раиса Пална! И сейчас-то уж я, бм, умом разошелся: что нашло? Ну, с кем не бывает...

Почувствовав по тону Ремешкова, что явился он не с мечом, а с оливковой ветвью, Раиса хмурится.

– Это как же? – надменно поджимает губы и косо посматривает на меня.

– Вы Кососеева, что ли, выгораживать пришли? Это что же получается?

Он магазин грабит, а законная власть ему потачки дает?

– Да какой грабеж! – морщится Ремешков. – Вы же знаете его, Раиса

Пална! Бывает! Нашло на человека! Что ж теперь делать?! Неужели заварим из этого кашу? Он ведь и деньги уж отдал, и дверь, бм, починил, и...

- Деньги его мне не нужны, - повышает голос Раиса.
- А то, что он дверь починил, - так мне-то что? Мне за что ему спасибо говорить?

Сам сломал, сам и чини!

- И я про то! - встревает Ремешков, поднимая раскрытые ладони.

- Ну! Только зачем ломал? Это что ж, сейчас вы его покроете, а потом он каждый день повадится замки крушить? Так, что ли?

- Да вы что! Раиса Пална! Как же, бм, он повадится, когда...

- Нет! Нет и нет! По всей строгости! Я законы знаю!
- Раиса жестко стучит кулачком по столу. - Знаю! Предумышленный грабеж - и все тут!

Ремешков молчит, разглядывая ее покрасневшееся полное, в меру накрашенное свежее лицо.

- Эка! Предумышленный! Во-первых, не предумышленный...

Предумышленный - это если б он приготовился как следует... ну, хоть бы, к примеру сказать, колун бы у баньки взял да с ним бы к магазину и пришел... А то ведь он небось стукнул чем попало - камнем каким или там железякой, - и вся недолга! Какой же это предумышленный грабеж! Это, бм, хулиганство!

- А вот суд и решит! - не уступает Раиса. - Вы только запишите все честь по чести - а там разберутся!

Прошла секунда.

- Значит, так!.. - говорит лейтенант Ремешков с широкой улыбкой, одновременно упираясь ладонями в стол словно для того, чтобы встать, а на самом деле только грозно подавшись плотным телом вперед. - Ты это дело брось! Не буду я на Лешку дело заводить! И не в твоих это интересах - со мной щетиниться!

- Это как это не будете! - Раиса тоже подается вперед, отчего ее тяжелый бюст мягко ложится на стол.
- Это как это не будете!

В сенях хлопает дверь, тут же взвизгивает вторая, и на пороге является Степан, муж Раисы Палны.

- Бодаетесь, что ли? - хмуро спрашивает он, рассматривая присутствующих. Потом тихо говорит мне: - Здрасти.

- Здрасти, - говорю я.

- Да нет, не бодаемся... - со вздохом отвечает Ремешков, совершая обратное движение - откинулся от стола. - Что нам бодаться... Мы с

Раисой твоей всегда общий язык находили... Сейчас вот запинка только вышла... Раиса говорит - сажать Кососеева, а я говорю - не надо!

- А что ж с ним делать? - бурчит Степан, сдирая с ноги сапог. - По головке гладить?

- Ага! - будто бы обрадованно говорит Ремешков, поднимаясь на ноги и оправляя китель. - И ты говоришь - сажать?

Степан молча сопит, возясь со вторым.

- Ну, если двое уже... это уж, бм, голос общественности! Раз общественность говорит сажать - будем сажать! Правильно! И все вообще теперь будем делать, бм, по закону! А, Степан? Согласен?

Тот пожимает плечами не глядя.

- Тогда, во-первых, значит, ружьишко придется изъять, - замечает лейтенант между делом, сдергивая с вешалки шинель. - Где у тебя ружьишко-то, Степан Никитич?

Вопрос совершенно излишен, поскольку тускло сияющая "ижевка" висит на самом виду - над диваном.

- А про во-вторых мы потом поговорим... - добавляет Ремешков, просовывая руку в рукав. - А, Степан? Поговорим ведь?

- Это чего это - изъять! - тихо и без тени уверенности в голосе возражает Степан. - Да ты что!

- Попрошу на "вы" с представителем власти, - режет Ремешков и добавляет неожиданно мягко, немного даже извинительно улыбаясь: -

Разрешеньице нужно было по форме выправить, гражданин Хвалин. Вы ж, бм, просрочили!

- Да что ж, что просрочил! Нельзя же мне без ружьишка-то! - восклицает гражданин Хвалин, переступая босыми ногами. - Со дня на день пороша! Ты что!

- Закон, бм, - равнодушно разводит руками Ремешков, делая шажок.

Я уже стою у дверей.

- Ладно, ладно! - Степан загораживает собственным телом проход к кровати. - Не надо! Не будем ничего!

- Это как это не будем! - кричит Раиса.

- Не будем, я тебе сказал! Ишь завелась! Все, все, Василий Петрович, базару нет... передумала она!

- Это что ж это я передумала!

- Молчи, сказал! - Степан сверлит жену взглядом побелевших глаз. -

После поговорим!

- Это что же мне молчать!..

- Ах ты!..

Степан неприцельно мечет в супругу сапог; предмет обуви перелетает комнату и ударяется об задребезжавшие дверцы серванта.

- Убью! - ревет гражданин Хвалин, шаря по полу в поисках второго. -

Не посмотрю, что милиция!.. Тут пороша со дня на день, а она - вона чего!!

- Ну, ну, еще один! Ладно, ладно! - Смеясь, Ремешков поднимает руки вверх. - Дайте выйти-то, бм, молодые! Уж сами тут как-нибудь потешитесь!..

– Да-а-а!.. – говорю я, когда мы оказываемся на крыльце. – Виртуоз!

– А как же, – с достоинством отвечает лейтенант, щупая ноздрями октябрьский воздух. – Надо же урегулировать!..

Учет

В молодости научная работа чередовалась с сельскохозяйственной. В колхоз посылали недели на две. Той осенью мы бесконечно долго убирали капусту. Трактор с прицепом волокся по раскисшему полю. Мы брели за ним, поднимая с земли плотные кочаны (кто-то срубил их прежде), чтобы кинуть в кузов. Как-то раз бригадир наказал после окончания работы подойти к учетчице и отметить. Мы подошли. Она приготовилась записывать на какой-то мятой бумажке.

– Волос.

– Как? – удивилась учетчица.

– Да обыкновенно. Как слышится, так и пишется, – грубовато сказал я. – Волос.

Она тупо смотрела на меня.

– Ну что у вас на голове растет! – сказал я раздраженно.

Она недоверчиво записала.

– Ветр, – сказал Костя Ветр.

– Что? – оторопело спросила учетчица.

Кое-как разобрались с Костей.

– Юр, – сказал Саша Юр, кореец по национальности (см. Национальность).

Широко распахнув синие глаза, учетчица немо смотрела на него.

Справились и с этим.

– Вульфсон, – сказал Миша Вульфсон.

Учетчица с облегчением вздохнула и написала на своей бумажке: "Вульсон".

– Нет, – стал поправлять ее Миша. – Не "Вульсон", а "ВульФсон"! Там

"Ф" в середине, понимаете?

Учетчица снова подняла взгляд. Мне показалось, что она сейчас заплачет.

– "Вульфсон"! – настаивал Миша. – "Ф"! Понимаете? Ну как вам объяснить? "Ф"! Федя! "Вульфсон"! Федя!

Учетчица зачеркнула прежде написанное.

И написала: "Федя Вульсон".

Фаланги

"Сольпуги, бихорхи, фаланги (Solpugides) – отряд членистоногих животных класса паукообразных. Тело длиной до 7 см, членистое, подразделено на головогрудь... и десятичленистое брюшко – оптисому, покрыто длинными волосками. Окраска однообразная буро-желтая. На спинной стороне головогруды пара срединных и пара рудиментарных боковых глаз. Конечностей 6 пар; первая пара – верхние челюсти, или хелицеры, служат для умерщвления добычи, жевания и для защиты; вторая пара – нижние челюсти, или ногощупальца, служат для ощупывания и схватывания добычи; третья пара – органы осязания; четвертая – шестая пары – ходильные... С. – хищники, питаются различными беспозвоночными и мелкими позвоночными (ящерицами).

Неядовиты..." (БСЭ, т. 40, второе издание).

Эта сухая информация совершенно не способна даже намекнуть на те чувства, что испытываешь при встрече с фалангой. Мохнатый рыжий паучище величиной с ладонь. Весь как из стальной проволоки – аж подрагивает. То замрет, то кинется куда-то стремительными зигзагами.

Ладно в чистом поле. А в палатке? В палатке, какой ни будь ты пацифист, с ним никак не ужиться. Хочешь не хочешь, а приходится воевать. То есть гоняться и бить ботинком. Или миской. В общем, чем попало. Еще хорошо, если сразу попадешь...

Сильные впечатления.

Ехали как-то поздним вечером, возвращаясь откуда-то в лагерь. На поворотах свет фар бежал по выгорелым бурым склонам. И что-то в нем золотисто и густо сверкало – как будто монет набросали.

- Что это блесит? – спросил я, всматриваясь.
- Где?
- Да вон на склонах-то.
- А, это-то, – флегматично сказал водитель Саша. – Да это фаланги...

Точно – я ведь и сам не раз видел, как они сверкают глазами, если посветить.

Страшный зверь. Зубов нет, но есть жвалы, то бишь хелицеры, – четыре зазубренные страшные пилы. Ходят так хитро, что никакой механизм не угонится. Как жмакнет этими своими хелицерами! – глубоко, до крови.

Это опасно – хоть и неядовита, да ведь живет без присмотра и питается чем попало, в том числе и падалью, а трупный яд – дело невеселое. Если в эти самые хелицеры попадает что-нибудь живое – муха ли, кузнечик, – оно моментально перестает быть живым, перемалывается в труху и исчезает.

Зрелище жующей фаланги – как всякое зрелище уничтожения и гибели – необъяснимо завораживает. Даже когда она просто сидит в стеклянной банке, ничего не жуя, но все же время от времени угрюмо пошевеливая своими жуткими жвалами, как будто проверяя их готовность к убийству и уничтожению, невольно задаешься вопросом – зачем она? Кому было нужно это чудовище? Для чего оно появилось?.. Если б не было доподлинно известно, что человек во многих своих проявлениях – зверюга пострашнее самой свирепой фаланги (а ведь тоже живет! тоже действует!), от этой мысли не так просто было бы отмахнуться...

Если вы не хотите и слышать о зверствах, которыми сопровождаются собачьи, петушинные, гладиаторские и прочие кровавые и безжалостные бои, смело пропустите эти страницы. Замечу лишь, что специфический бес, ответственный за то, чтобы человек, как бы ни старался, не мог удержаться от

губительных проявлений азарта, живет в каждом из нас.

Это он толкает толпу на трибуны амфитеатров и стадионов, заставляет следить за теннисными и боксерскими поединками, за прыжками с трамплина и автогонками. Его особенно радует, что ты не можешь не почувствовать какое-то пещерное, нерациональное, животное ликование, когда видишь кувыркающиеся, горящие обломки болида, в месиве которых прощается с жизнью несчастный пилот, – явная чертовщина!..

Но так или иначе, пойманную фалангу можно посадить в большую кастрюлю, выклянченную у поварихи под обещание впоследствии отдраить ее (кастрюлю) песком и хозяйственным мылом.

А затем на жарком склоне под сухим горячим камнем найти крупного золотистого скорпиона. Он свиреп, воинствен, опасен, машет хвостом с ядовитой колючкой, и если не побережешься – ого-го, как можно пострадать!..

И сунуть его в ту же кастрюлю.

Вы, конечно, ждете описания страшной и долгой битвы, развязка которой совершенно непредсказуема. То одна сторона начинает пересиливать... ах!.. то другая!.. То один боец вот-вот упадет бездыханным... ах!.. то другой!..

Ничего подобного.

Как бы скорпион ни пыжился, как бы ни водил своим жалом, на фалангу это не производит никакого впечатления. Едва заметив его шевеление, она тупо и без раздумий шагает к нему, хватает в охапку, разрывает пополам и немедленно сжирает. И даже самую ядовитую колючку тоже, кажется, безрассудно проглатывает. Которая, впрочем, не причиняет ей видимого вреда.

По размеру они примерно одинаковы, а все равно выглядит так, будто голодный медведь навалился на

беспомощного ягненка.

Вот такая сволочь.

Но как известно, молодец – на овец, а против молодца – сам овца.

Потому что есть такое существо – богомол, "Mantodea – отряд своеобразных, близких к прямокрылым насекомых, наиболее характерным признаком которых является устройство передней пары ног, превращенных в орудие для захватывания живой добычи... голова сидит на очень тонкой шее и может свободно поворачиваться во все стороны, что позволяет Б. следить за движениями намеченной жертвы. Нижняя поверхность бедра и голени передних ног покрыта острыми шипами и зубцами; бедро и голень сочленены таким образом, что могут прикладываться друг к другу, причем зубцы и шипы голени входят между зубцами и шипами бедра... типичные хищники, чрезвычайно прожорливы, питаются насекомыми... Характерная поза Б. – с наклоненным вперед телом, опущенной головой и "молитвенно" сложенными передними ногами..." (БСЭ, т. 5, второе издание).

Вид у него действительно очень мирный. Такая зеленая головастая палочка сантиметров семи величиной – сидит на ветке, молитвенно сложив толстенькие лапки, растерянно крутит глазастой головенкой в разные стороны. Посадишь на ладонь – ничего. Конечно, если к самым челюстям палец поднести, может и цапнуть, но не очень больно – так, щипок. А может и не цапнуть. Короче говоря, существо совершенно мирное.

И в кастрюле с фалангой проявляет себя совсем не воинственно. Сидит себе. Даже головой не особенно крутит. Что ею крутить? – кастрюля белая, чистая, пустая, ничего в ней нет – кроме отчетливо видимой рыжей фаланги на другом конце ринга.

А фаланга, надо сказать, ведет себя совсем не так, как только что при встрече со скорпионом.

Куда делась ее расхлябанная тупая сила? Нет, вся она вдруг как-то подбирается, концентрируется, сжимается в кулак. И вовсе не прет без раздумий вперед, а начинает с приглядкой перетаптываться – то вперед на сантиметр, то назад. То приставным шагом на сантиметр влево. То опять же приставным – на пару сантиметров вправо.

Видно, что ее томят какие-то сомнения, и, возможно, если бы мозгу у нее было чуть больше, то она, поразмыслив, вовсе бы оставила свои зверские намерения, а, как-нибудь извернувшись, маханула бы через край кастрюли – да и поминай как звали.

Но мозгу ей не хватает даже на совсем простые решения, что будет показано ниже.

А инстинкт не дает покою и толкает вперед.

И в конце концов она, тщательно примерившись, кидается на врага.

Точнее, на жертву. Которую она рассматривает, надо полагать, просто как безусловное явление пищи.

В этот самый что ни на есть критический момент происходит нечто такое, что ни разу не удавалось мне как следует рассмотреть. Так действует затвор фотоаппарата при выдержке 1 1000. Просто щелчок! – никому, кроме очень узких специалистов, в точности неизвестно, что случилось во время этого щелчка, – а на пленке уже все запечатлено!

Просто щелчок! – и остается неясным, как это вышло, но богомол стоит, зажав передними лапами две половины разорванной пополам фаланги, и явно собирается приступить к завтраку...

Я построил небольшой террариум из нескольких пластин оргстекла и реек. Насыпал песку, камушки положил, стебли травы, ветки. И жили в нем одна за другой две фаланги.

Первую убили кузнечики. Она пожирала их в немыслимых количествах. В природе-то пища попадает редко, да еще порхает и прыгает совершенно произвольным образом – погоняйся-ка!.. А в неволе каждые пять минут кто-нибудь сует угощение, чтобы посмотреть, как ловко фаланга с ним расправляется. И бедное животное ест, ест, ест – буквально до смерти. Довольно скорой. Даже кличку я первой фаланге не успел придумать...

Вторую звали Эммой. Эмму я кормил два раза в неделю. Твердый рацион самым благоприятным образом сказывался на ее самочувствии – Эмма отчаянно резвилась и прыгала. Когда похолодало и поимка кузнечика или мухи превратилась в неразрешимую проблему, она с удовольствием переключилась на кусочки сырого мяса.

Увы! – должно быть, террариум был слишком тесен. Сигая по нему из угла в угол, она в конце концов каким-то образом вывернула себе лапу. И это сгубило бедную Эмму, потому что насекомых не лечат.

Филогенез

В нашей семье было так.

Когда дедушка умер, бабушка нашла в его столе неизвестную ей сберегательную книжку с довольно крупной по тем временам суммой – сто девяносто рублей.

В книжке лежал листок бумаги, на котором каллиграфическим дедовским почерком было написано: "Таня! Не волнуйся, это честные деньги – тебе и детям".

Приходные записи показывали, что счет пополнялся много лет, но очень мелкими суммами – не больше двух рублей в месяц.

Дед вообще любил всякие заначки. И говаривал очень хмуро, когда, например, мама просила у него тридцатку в долг на покупку туфель: "У ваших денег глаз нет!.."

Бабушка долго рыдала над этой книжкой, изводя детей нелепыми просьбами отнести ее, бабушку, на кладбище и зарыть в ту же могилу, где лежит ее золотой муж.

А в семье моей будущей жены дела обстояли несколько иначе.

У ее отца, человека довольно обеспеченного, было несколько сберкнижек. Но все деньги с них он завещал своей сестре, а вовсе не жене и не детям, и когда умер, вдова с ней, с сестрой, судилась.

Я-то ничего этого не знал. Откуда мне это было знать? Я об этом потом узнал, много позже.

Что же касается сберкнижки, то у нас была своя собственная история.

Отец как-то раз вручил мне пятьдесят рублей и наказал положить их на книжку.

Я удивился – зачем? Денег вечно не хватало на самые насущные вещи, и никакие "хельги" (см.) не могли этого положения исправить. Поэтому я не понимал смысла хранения денег в сберкассе. Но его логика тоже была простой и понятной: так разлетится по мелочам, а на книжке будут лежать до последнего. Вот когда уж совсем край, тогда и снимешь.

Я так и сделал.

И постарался забыть об этой сберкнижке. Иногда только вспоминал, и становилось приятно – пятьдесят рублей на счету! Не шутка!..

Потом у нее кончилось пальто.

Кто хоть единожды был женат, тот знает, как бывает с женскими пальто: было – и кончилось. Я и тогда хорошо понимал, что в этом нет ничего противоестественного. Денег на новое не хватало. Я спросил, нельзя ли купить пальто подешевле. Впрочем, вопрос был риторический

– оно и так не было чрезмерно дорогим, это проклятое пальто. Просто мы были бедны. В ответ она так горько усмехнулась, что мне стало стыдно.

– Да ладно, плюнь, – небрежно сказал я, невольно копируя отцовские интонации. Я думал, она обрадуется, как радовалась в таких ситуациях мать. – У меня есть еще пятьдесят рублей.

– Пятьдесят рублей?! – насторожилась она. Горькая улыбка медленно сползла с ее лица, и оно сделалось оскорбленно-озабоченным. – Откуда?!

– С книжки сниму, – беззаботно махнул рукой я.

Но что-то уже подсказывало мне, что дело заехало куда-то не туда и сейчас грянет гром.

Скандалов я не любил, потому что обычно не понимал причин, из-за которых они возникали. Я их боялся. Описываемые в литературе ссоры между молодыми супругами были совсем иными. Трах-тарарах, десять жарких слов, бурные слезы, и вот уже – не менее

жаркие объятия, естественно переходящие в тот же самый трах-тарарах. Это вовсе не было похоже на наши столкновения. После наших столкновений трах-тарарах прекращался недели на три.

– С книжки? – оторопело спросила она. – У тебя есть своя сберкнижка?!

Не знаю, что ей в тот момент почудилось, но глаза были такими, словно она чудом не наступила на гадюку.

– Ну и что! – сказал я, все еще пытаюсь наигранной своей бодростью удержать корабль любви на плаву. – Подумаешь – сберкнижка! Что ж такого! Ну, дал мне отец полгода назад пятьдесят рублей, я их на книжку положил... Должны же быть у нас деньги на крайний случай! Вот видишь – пригодились!

Нет толку рассказывать, что случилось далее, по причине, указанной в первой фразе бессмертного романа Льва Толстого "Анна Каренина".

– Да почему же я обманул?! – голосил я, пораженный в самое сердце.

– Почему же я обманул?! Я же тебе, тебе же и хотел дать!! На пальто-о-о-о!!! Ты что, сумасшедшая?!!

В меня летели рубашки, брюки, трусы. Я не хотел так же, как она, с восторгом заходиться в безумии скандала. Я хотел быть сильнее.

Поэтому я подбирал одежду и с угрожающей руганью засовывал обратно.

Я хотел, чтобы у нас все было хорошо. По-видимому, мое упорство было ей искренне неприятно.

– Смотри, мама! – распаленно кричала она, показывая на меня пальцем.

– Ему плюй в глаза – все божья роса! Его ничто не берет! Его же не выпрешь!! Сволочь какая! Он от меня деньги прячет, сберкнижки заводит – а сам тут вон чего, видишь! Его же ничем не донять, мерзавца!..

Но все-таки она нашла этот способ: по-волчьи завыв, кинулась к столу и, вся в слезах, стала рвать мои

бумаги.

Конечно, лучше было ей этого не делать.

Я не понял, что случилось. Я очнулся от крика, с которым она, поднятая на воздух какой-то чудовищной силой, по крутой траектории вылетела в коридор и с доминошным стуком упала на паркет...

Мы переночевали в разных комнатах. Утром я, уходя на работу, захлопнул дверь, а шагая к трамвайной остановке, сунул руку в карман куртки. И удивился ощущению непривычной легкости.

А она, оказывается, тайком сняла с брелока ключи.
Вот такой филогенез.

Фирма

Название фирмы, компании должно быть благозвучным и запоминающимся.

Я, бывало, покупал пиво в ООО "Фобос", чинил туфли в ЗАО "Цимес", пивал соки компании "Сокос", а также обменивал доллары на рубли в банке "Стратос" и приобретал паленое спиртное в магазине "Бахус".

По-видимому, звучное название привлекает клиента и обеспечивает успешность бизнеса.

Мне рассказывали, как однажды в контору, занимавшуюся регистрацией и перерегистрацией частных предприятий, пришли два плохо говорящих по-русски угрюмых грузина и сказали, что им нужно срочно перерегистрировать фирму.

- Сколько стоит?
- Что именно перерегистрировать?
- Название менять.
- Только название?
- Да, только название.
- Зачем вам менять название?
- Не знаем. Мы когда открывали, нам сказали, так очень красиво. Нам тоже нравилось. Теперь некоторые говорят – нет, не очень красиво.

Хотим менять.

- А какое было? Где документы?
- Вот, пожалуйста. ООО "Анус".

Фокусы

Сам я фокусов никогда не показывал, но однажды по мере сил участвовал в их демонстрации.

Мама повела меня на эстрадный концерт. Кажется, это был дневной концерт, и наряду со взрослыми в зале присутствовало много детей.

Места были хорошие – второй ряд, в центре, около прохода.

Концерт оказался... впрочем, я не помню, каким оказался концерт. Из всего концерта я запомнил только фокусы.

Фокусник вышел на сцену (это был ражий лысый мужчина во фраке) и сказал, похохатывая:

– Ну что ж! Сейчас я покажу вам фокус!

Возможно, правда, он сказал что-то совершенно иное – память утратила детали его выступления. Кстати говоря, не исключено, что он показывал не один фокус, а несколько – но и этого я тоже не помню.

– Мне понадобятся помощники! – сказал фокусник и, плотоядно скалясь, оглядел первые ряды. – Ну-ка, милая девочка с красным бантом из первого ряда... да, да, вот ты!.. попрошу на сцену!

Девочка с красным бантом встала и, багровея от смущения и гордости, поднялась на сцену. При этом она споткнулась на третьей ступеньке и была вынуждена опереться ладошками о четвертую.

– Так! – сказал фокусник затем, неожиданно пронзая меня сверлящим взглядом. – И вот ты, мальчик! Во втором ряду, у прохода!

Я оглянулся.

– Не крути головой! – приказал он. – Я тебя, именно тебя зову!

Рыженький! В пиджачке!

Я в ужасе посмотрел на маму. Она взглянула на меня ободряюще.

Я обреченно встал. Но на всякий случай спросил, указательно приложив руки к груди:

– Я?!

– Ты! – ответил он и снова хохотнул. – Давай, давай! Мы ждем.

Я пошел к лестнице. Ноги у меня подкашивались. Зал был огромен.

И смотрел на меня.

Отчего-то споткнувшись на третьей ступеньке, я кое-как забрался на сцену.

– Ну-с, дорогие мои помощники! – воскликнул фокусник. Мы стояли от него по обе стороны. – Вот у меня коробочка! Сейчас я буду вам ее по очереди показывать, а вы станете говорить, какая в ней лежит карта – целая или порванная!

Я сразу понял, что дело неладно. Никакая это была не коробочка, потому что коробочке свойственно плоское дно. И она квадратная. В крайнем случае – прямоугольная. А эта штука представляла собой... ну, вот если двускатную крышу перевернуть вверх тормашками и приделать боковины.

– Итак, девочка, – сказал он. – Какая карта у меня в коробочке?

– Целая! – звонко ответила девочка, заглянув.

Фокусник повернулся ко мне:

– Ну-ка, мальчик, теперь ты скажи!

Я взглянул – и почему-то ужасно успокоился. Прямотаки заледенел.

Должно быть, от неприязни. В его жульнической двускатной коробке теперь лежали обрывки карты. Там была перегородка, которую он перекидывал то туда, то сюда. Очень просто – тут целая, там рваная.

И никакого мошенства.

– Целая, – хладнокровно сказал я.

Фокусник удивился.

– Что? Мальчик, смотри внимательней! Какая карта?

– Целая! – бессердечно настаивал я, глядя на ее обрывки.

Фокусник совершенно потерял лицо.

– Да нет же, мальчик! – смятенно воскликнул он. – Ну как же целая, когда рваная?!

– Целая!

В зале зароптали.

Он обжег меня злым взглядом – и тоже успокоился.

Девочка говорила то, что видела. Я говорил не то, что видел, а повторял за девочкой. Она – "рваная", и я – "рваная". Она – "целая", и я туда же... То есть благодаря моим усилиям эффективность его дурацкого фокуса была снижена как минимум вдвое. Но все-таки ему удалось убедить зал, что мы совершенные придурки и сами не знаем, что несем.

И я до сих пор жалею об этом. Ведь у нас был шанс с блеском разоблачить его глупые уловки!

Конечно, если бы эта дура с бантом была чуть сообразительней...

Фрадкин

Не пожалею я поклону
Для родины одеколону!

Русская народная песня.

Фрадкин живет на окраине города Кельна.

В непосредственной близости от его дома
расположено некое учреждение

Бундесвера – внушительное многоэтажное здание с
огороженным двором и всеми полагающимися
прибамбасами. Не будем приводить его точное
название. Только намекнем: что-то вроде Академии
Генштаба. Или

Академии имени Фрунзе, если опереться на
соответствующие наши аналоги. Или Штаба
командования сухопутных сил. Короче говоря,
серьезная организация, не семечками торгуют.

Как-то раз, шагая мимо ворот этого заведения к
автобусной остановке,

Фрадкин неожиданно увидел российского офицера.
Обычно там толклись весело гогочущие немецкие
войки. А тут – нормальный монголоидный капитан в
нормальной форме отечественных вооруженных сил с
нормальными знаками различия. Должно быть, он
приехал по межгосударственному обмену. Капитан,
скажем, отсюдова туда, в не до конца проясненную
контору возле дома Фрадкина, а его коллега – оттудова
сюда, в натуральную Академию имени Фрунзе.

Капитан покуривал и хмуро озибался. На его
скуластом лице было отчетливо написано, что здесь, на
чужбине, он чувствует себя немного не в своей тарелке.
И ничего хорошего не ждет. Да и впрямь, как

вдуматься. Языка не знает. Обычаев – тоже не знает. Ну вот шагают тут по улицам люди. Одеты вроде прилично. В очочках. А ведь все они

– немцы!

Ни поговорить с кем, ни словцом перекинуться. И вообще неизвестно, что у них на уме. Что вот они тут ходят? А вдруг не просто так они тут ходят?..

В общем, полный туман и пугающие непонятки. Того и гляди, проколешься. А тогда на родине ни звания очередного, ни должности приличной!..

Проходя мимо, Фрадкин заговорщицки подмигнул и спросил:

– Что? Наши УЖЕ в городе?

По его словам, бедный капитан рассыпал сигареты и так шарахнулся, что чуть не упал.

„

Хельга"

"Хельгой" изначально назывался сервант то ли немецкого, то ли польского производства. Потом их стали производить на одной из московских мебельных фабрик. "Хельга" несколько потускнела и осунулась, но популярности не утратила.

Я работал в институте и получал зарплату. Зарплаты не хватало. Время от времени я пытался подработать.

Олег Иванов и его напарник Коля ездили на большом грузовике-фургоне.

Меня Олег брал третьим. Не знаю, зачем. Пользы от меня, на мой взгляд, было мало. Мы колесили по Москве из конца в конец. Я им пел песни, а то еще читал стихи. Коля хмыкал, Олег ликовал, на светофорах, бросив баранку, бил меня лапой по плечу – еще давай!.. В промежутках внимательно изучали доставочный лист.

– Первый! – орал Иванов. – Переадресовка! Бля буду – переадресовка!.. Заработаем, мужики!

Приобрести сервант "Хельга" законным образом мог только житель

Москвы. Житель Подольска или Гжели шел на ухищрения: договаривался с родственником-москвичом, тот записывался, через год покупал вожденную подольчанином вещь и оплачивал доставку – разумеется, на первый этаж, чтоб не тратить лишнего: ведь все равно же прямо от подъезда таранить ее бог весть куда!..

– Не-е-ет! – ревел Олег, широко отмахиваясь. – Да не возим мы в

Подольск! Да вы че! Нас менты за кольцевой повяжут! Какой, на хер,

Подольск!.. Сколько?! Тридцать рублей?! Да вы че, мужики! Семьдесят!

Семьдесят, я сказал! Че?! Коля! А ну давай сгружать ее на хер! Пару часиков на морозце постоит – и развалится! Будут знать!..

После этого события могли развиваться двояко. В первом случае непременно присутствующая жена с визгом бросалась на жадину мужа, и через пять минут мы уже весело катили в Подольск. Во втором хмурый

Иванов яростно матерился, крутил баранку и втыкал заднюю передачу с хрустом, похожим на звук раскалывающейся коленной чашечки.

– Во, бля! – бормотал он, когда мы выезжали из двора. – Тридцатки пожалели! Да она у них на морозе-то вся по досточкам разойдется!

Вишь, как заворачивает!..

– Может, надо было бы, а, – неуверенно бубнил я, представляя их серые растерянные лица возле криво стоящего на снегу серванта

"Хельга". – Ведь правда развалится... Может, у них и денег-то таких нет...

– Денег нет? – изумлялся Иванов, веселея. – А ты не покупай, коли денег нет! Нет денег – сиди в своем Подольске и не высывайся! Мы же на чужом горе наживаемся! – пуще веселел Олег Иванов, невзначай меня поучая. – У нас же работа такая! Верно я говорю, Колян?

Колян кивал. Он вообще был немногословен. Иногда только заводил разговор о двух своих сыновьях, называя их чапаевцами. Он был пропащим алкоголиком, этот Колян. И не мог проявить такую силу и напряжение духа, на какое был способен Иванов. При лобовом столкновении Колян явственно скисал, и было видно, что ему страшно хочется припасть к стакану.

Зато он умел войти в коридор и быстрой пощупкой растопыренной грязной ладони начать промерять стены

и проходы. Постепенно выражение его лица из озабоченного превращалось в огорченное.

– Нет, не пройдет! – махал он рукой. – Разбирать надо... где инструмент?

И, вооружившись клыкастым железом и паучьи растопырившись, недобро подступал к сияющей стеклом вещи.

– Соколики! – голосил клиент, закрывая добро телом. – Не надо, милые! Вот вам десяточка, ласковые мои! Христом-богом молю – не разбирайте!

Стоит ли объяснять, что, каким бы узким ни был коридор, десяточка всегда оказывала свое волшебное действие: сервант "Хельга" подбирал живот, вбирал голову в плечи, вообще весь несколько ужимался – и проходил!

Художник

Знавал я одного художника. В качестве натуры он почему-то отдавал предпочтение быкам. При этом ему никак нельзя было отказать в изобретательности.

Например, он брал большой толстый кусок поролона и начинал художественно жечь его спичками. В их коптящем пламени поролон неровно плавился. В конце концов получалось произведение искусства, представлявшее собой сильно пожженный кусок поролона. Автор утверждал, что в конфигурации проплавившихся мест можно угадать очертания быка. Лично у меня на это никогда не хватало воображения, но так или иначе, артефакт имел название "Бык".

Или он брал другой кусок толстого поролона (первый был безнадежно испорчен предыдущим "Быком") и ставил на него рядышком два горячих утюга. Поролон, разумеется, плавился – именно по форме этих утюгов.

Эта вещь тоже называлась "Бык". Из-за нее чуть не случился скандал и драка на каком-то аукционе.

Однажды, заглянув на его выставку, я долго присматривался к полотну, изображавшему кошку. Кошка, пребывавшая в последней стадии озверения, была решена простыми и выразительными средствами – гуашью, что ли, – на куске картона. Окровавленная морда припавшей к земле взбесившейся кошки была страшна и живописна. Вся в целом она выступала из чересполосицы неряшливых линий, на первый взгляд казавшихся случайными, – большей частью черных. Кровь, капавшая с морды зверя, забрызгала и когти, и спину. Судя по всему, кошка завершила какой-то дикий, смертельный прыжок, наверняка унесший чью-то

жизнь, и теперь, припав на лапы, готовилась унести вторую.

Когда художник подошел ко мне, я сказал, что картина "Кошка" мне понравилась больше других, и если бы у меня были деньги, я всерьез задумался бы о ее приобретении.

– Какая еще "Кошка"? – недоуменно спросил он.

Я показал.

– Это никакая не "Кошка", – недовольно сказал художник. – Какая еще, к черту, "Кошка"! Ты ослеп? Это "Бык", – по-моему, понятно!.. Там и подпись есть... Да, бык... но молодой еще... теленок как бы.

И, обиженно качая головой, направился беседовать с очередным покупателем.

Чай

В отличие от кофе (см.), употребление которого предполагает европейский стиль мышления и жизни, чай самой природой назначен для утоления жажды в Азии. Поэтому мне кажется странным, что здесь, в пределах нашей страны, находятся люди, рискующие пить кофе. На мой взгляд, столь резкий диссонанс между натурой – конечно же, совершенно азиатской! – и тем, чем ее потчуют, не может не вызвать отрывки, икоты или, чего доброго, бессонницы.

И действительно, можно ли вообразить употребление кофе в такой, например, ситуации.

Большой пыльный кишлак на юге Таджикистана. Лето. Пятый час дня.

Дикая жара.

Придорожная чайхана. Кущи и соответственно сень струй. Под старыми чинарами близ большого арыка штук шесть квадратных топчанов – катов.

Они застелены какими-то тлелыми половиками. Несколько чернявых посетителей в халатах и тюбетейках сидят, скрестив ноги, на катах или возлежат на них же на манер древних греков. Двое играют в шахматы. Носики почти всех чайников предварительно отбиты, а затем мастерски заменены жестяными протезами. Крышки на веревочках.

Щербатые пиалушки. Чай в них наливают на самое донышко. Потому что, если сам по себе пьешь, это просто удобно: не нужно долго ждать, пока остынет. Дунул – и пей. Если же кого-нибудь угощаешь, то чем меньше налил, тем чаще придется проявлять к гостю внимание, а проявить к гостю внимание – это главная радость для хозяина... В служебной части заведения, расположившейся под легким навесом, огромный

самовар, похожий на почернелого от старости бегемота. На перекладине висит ивовая клетка. Она расцвечена перьями и лоскутками, а ее пернатый населец кеклик (см.) время от времени оглашает окрестности озабоченным кудахтаньем. Молодой чайханщик со своим мальчишкой-подручным. Короче говоря, мусульманская идиллия.

Между тем по разбитой дороге, перекашиваясь бортами на колдобинах, подъезжает кургузый "ГАЗ-63" с брезентовым верхом.

Из кабины выбираются водитель и мой отец. Он в выгоревшей армейской панаме на голове и с кобурой на боку. Из кузова – еще один такой же иссохлый геолог в таком же полевом (см. Поле) обмундировании.

Этот, правда, не вооружен.

Сидящие в чайхане невзначай посматривают на пришельцев.

Пришельцы устало идут к свободному кату. Разуваются, покряхтывая.

Располагаются.

Подбегает мальчик.

– Э, бача! – говорит отец, с отвращением оглядывая несколько замусоренный предыдущими посетителями кат. – Позови-ка хозяина!

Поспешно подходит, вытирая руки о фартук, чайханщик.

– Что у тебя тут такой свинарник?! – спрашивает отец. – Убрать не можешь?! Тебе не в чайхане работать, а за поросятами ходить!..

Насупившись, чайханщик молча наводит порядок и удаляется.

– Якта чойнак бьер! – говорит ему в спину отец. – И печаку пусть принесет, что ли...

Неожиданное замедление.

– Да что ж такое! – ворчит отец. – Люди тут уже от жажды потрескались, а он ковыряется!..

Но вот наконец мальчик бегом приносит чайник, три пиалки и требуемую сладость.

– За смертью вас посылать, – говорит отец. – Что так долго?

– Вода кипел! – отвечает мальчик, пятась от этого грозного рыжего человека.

Зеленый чай положено раза три перелить, чтобы лучше заварился. Налил немного – и обратно в чайник.

Все. Можно пить.

Пьют.

– Что за черт, – ворчит отец. – Псиной какой-то отдает... Нет, это не девяносто пятый!

Рассуждают о качестве чая. Собственно говоря, чай хорош только один

– именно что "девяносто пятый". Все иные сорта если упоминаются, то с непременными аллегорическими довесками в виде "ослиного навоза" и "мышинного дерьма".

– Давно такой дряни не попадалось, – бормочет отец, с отвращением выплескивая опивки на утопанную, чисто метенную глиняную дорожку.

И снимает с пустого чайника крышку.

И заглядывает в него.

– Что за хреновина! – говорит он, присматриваясь.

И выуживает разгоряченный, парящий желтый кусок свиного сала!

Немая сцена.

Которая, разумеется, кончается бурей.

В общем, см. Селитра, только все наоборот.

А вы еще говорите – кофе!..

Человек водочный

Полковник Титков был, по его собственным словам, человек водочный.

Справедливость этого доказывал всей жизнью. Выпивая водку, одобрительно крякал; если же приходилось пробавляться иными напитками, крякал весьма неодобрительно. Шесть лет Титков торчал на

Кубе, где в чипках только сладкий ром да вонючий коньяк, а очищенной даже интенданты достать не могут. Рассуждая о быте и нравах жителей острова Свободы, полковник крякал неодобрительно. О тамошней его службе напоминали крокодильи челюсти, две большие розовые раковины и привычка звать племянников на испанский манер: Сашу – Санчо, а

Михаила – Мигуэль.

Пока полковник был в силе, жена не перечила. Когда же грянула отставка, ему не стало от нее житья. Полковник Титков перешел на нелегальное положение. Квартира стала похожа на минное поле – по ней нельзя было ступить шагу, не наткнувшись на заначку. Когда Настя меня привела знакомиться с родителями, полковник – кряжистый крупный мужик с тяжелой львиной головой – выступил в прихожую, гремя медалями, коробя китель для дружеского объятия и повторяя: "А ну-ка,

Настюха, посмотрим, кого ты нам привела!" Я шагнул к нему, полковник меня по-медвежьи облапил и между двумя риторическими обращениями к смущенной дочери едва слышно пророкотал в ухо: "В ванной под бигудями!" И действительно, направившись мыть руки, я обнаружил в шкафчике початую бутылку водки и стакан, замаскированные пакетом с разноцветными бобышками пластмассовых бигудей.

– Я человек водочный, – угрюмо повторял полковник Титков, если разговор заходил о вреде злоупотреблений.

Время от времени Клавдия Сергеевна учиняла в квартире тотальный обыск. Однажды это случилось и на даче. Шмон принес ошеломительные результаты. С одной только морковной грядки было конфисковано две чекушки. Судя по непреклонному излому полковничьих бровей, его оборона была глубоко эшелонированной и рассчитана на долгое противостояние, однако в силу нещадного тарарама воспользоваться стратегическими резервами не было решительно никакой возможности.

Распаленная Клавдия Сергеевна вручила мужу корзинку и наказала немедленно идти за грибами. Вторую корзинку взял я.

Мы брели по пыльной дороге между дачными посадками. Полковник Титков хмуро молчал.

– Может, в Вознесенское пиво привезли, – предположил я, надеясь хоть немного рассеять тяжелые мысли, зримо теснящиеся над его потными залысинами.

– Я человек водочный, – безрадостно отозвался он.

Дошли до опушки и двинулись вдоль леса. Скоро дорога ушла влево. Мы шагали кошеной луговиной.

– Ну что, – с отвращением сказал полковник Титков.
– Грибов, что ли, поискать...

Он шагнул к ближайшему кусту и палкой приподнял ветку. Грибов не было. Полковник чертыхнулся и пошел к другому.

Под вторым кустом торчал мухомор. Возле него в траве поблескивала большая темная бутылка.

Я не знаю, откуда она там взялась. Было очевидно, что к полковничьим заначкам она не имеет отношения. Следов пикника, по окончании которого ее могли забыть под этим грязным кустом, тоже не наблюдалось.

Этикетка была свежей. Да и сама бутылка – совсем не пыльной.

– Порт-вейн "Аг-дам", – брезгливо прочел полковник, беря ее в руки, как ребенка. – Вот тебе раз. И кто только тут этой дряни набросал?

Он оглянулся, как будто желая убедиться, что рядом не лежит ничего более подходящего для его водочной натуры. Расстроено махнул рукой, неодобрительно крикнул, достал из корзинки нож и начал срезать пластмассовую пробку.

С тех пор я уверен, что не стоит беспокоить мольбами утомленные небеса. Они и сами способны позаботиться о своих избранниках.

Человечество

Человечество – это ветвистое дерево. Вроде яблони, только там, где простой садовой яблоне свойственно вертикальное измерение, здесь расположена ось времени. Возле придуманной яблони можно придумать и садовника со стремянкой. В простом саду он лазит вверх да вниз по своей садовничьей нужде – ветку подвязать, сорвать яблоко, спилить обломок и замазать ранку садовым варом. Здесь он мотается по оси времени, и это значит, что он является садовником самого Бога. В простом саду садовник, чтобы оценить густоту ветвей, прикладывает ко лбу ладонь, хмурит мохнатые брови и делает мысленный горизонтальный срез кроны на интересующей его высоте. Там, где мысленная плоскость среза пересекает ветвь, образуется мысленный кружочек. Сколько ветвей пересеклось, столько и кружочков на плоскости. Тем же самым занят и Божий садовник возле своей волшебной яблони... Приложит ладонь ко лбу, сощурится – вишь ты, сколько ветвей! Сколько кружочков на плоскости!.. А сколько кружочков, столько и людей, ведь человек – ветвь: он начинается малым отростком и тянется вверх со всеми вместе... А если здесь пересечь? Вот и поменялась картинка – прежние кружочки какие есть, а какие и пропали... зато появились новые. А почему? Да потому, что каждая веточка тянется, тянется, а потом вдруг раз! – и уже не тянется! В этом срезе был кружочек... а вот в этом бац! – и нету...

Чемодан

Сергея Лангман купил чемодан.

Дело было в Америке, в пригороде Сиэтла, штат Вашингтон.

Чемодан стоил сто долларов.

По тем временам – сумма несусветная. По крайней мере для человека, приехавшего из России. В Москве на сто долларов можно было недурно жить месяца три.

Чемодан, конечно, был замечательный – черный пластиковый самолетный чемодан фирмы "Samsonite". С двумя стальными щелкающими запорами, как в английском банке, с блестящими ключиками какой-то немыслимой конфигурации.

Я долго не мог решиться купить такой же. Как всегда, душу рвали два примерно противоположных чувства – желание жить лучше и жадность.

В конце концов я созрел.

Когда мы приехали в магазин, оказалось, что чемоданы подешевели – девяносто долларов штука!

Моему ликованию не было предела, Сергей же пригорюнился. Повторяю – даже десять долларов для человека из России представляли собой весьма значительную сумму.

Однако Сергей был практичным человеком. Даже практичней меня. Так, например, он тщательно прочитывал бесплатные газеты, которыми беспрестанно забивали нам ящик, содержавшие информацию о различных распродажах. Вечерами мы сидели, разложив на столе вырезки из них, и рассуждали о преимуществах тех или иных покупок со скидкой. Впрочем, ничего путного не предлагали. Только однажды появилось объявление, заинтересовавшее нас до такой степени, что мы поднялись утром на час

раньше и побежали в магазин "Saveway", объявивший умопомрачительную скидку на ветчину.

Магазин "Saveway" занимал площадь примерно в два футбольных поля. На территории мясного отдела мог бы расположиться средней руки садовый участок с домом, баней, сараями и плодовым садом. Мы едва докричались продавца – идея запастись продуктами коренных американцев в такую рань не посещала, "Saveway" был тих, пуст, гулок. Лишь несколько кассирш подремывали у выхода. Когда появился интеллигентного вида немолодой человек в белой одежде, мы потребовали скидочной ветчины.

Он кивнул, пропал и скоро вернулся с окороком.

Мы переглянулись.

– А побольше есть? – спросил я.

– Да, нам бы побольше, – поддержал Серега.

Человек пожал плечами, снова исчез и снова появился. Теперь он катил тележку, в которой лежал другой окорок.

Этот мы одобрили.

На кассе оказалось, что он почти ничего не стоит. Так, доллара три, что ли.

Мы сунули один в другой восемь пластиковых пакетов, положили в них окорок и, взявшись с двух сторон за ручки, понесли к дому.

В титанических гулких пространствах "Saveway", на пустынных улицах нашего городишки, даже еще на лестнице, по которой мы, пыхтя, взволакивали его на второй этаж, он еще выглядел совершенно нормальным.

Но когда мы положили его на кухонный стол, оказалось, что он занимает его целиком.

Избавившись от кости (ее можно было бы использовать вместо бейсбольной биты), мы порезали его на куски и плотно забили все отделения холодильника.

Дальнейшая судьба этого окорока не так весела. Небольшую часть мы съели. На это ушло недели три. Потом он завонял. И был в три приема снесен на помойку.

Но с чемоданом все вышло гораздо удачнее. На другой день после того, как я по его примеру обзавелся таким же, Серега взял свой собственный, приобретенный тремя неделями раньше, поехал в магазин и указал администрации на явно нелепое положение вещей. Он купил чемодан за сто долларов, в то время как, если бы не торопился, мог бы купить его за девяносто. Не правда ли? Администрация почесала репу и признала его аргументы разумными. И впрямь: чек сохранился, и в крайнем случае он мог бы вернуть чемодан за сто, а потом купить его же за девяносто. (В Америке все можно вернуть и потребовать деньги. Наш переводчик даже вскрытые банки с вареньем возвращал: не понравилось, мол, и знать ничего не хочу.) Короче говоря, во избежание лишней волокиты Сереге просто выплатили десятку и закрыли тему.

Мы потом еще пару раз заглядывали в эту лавку (чеки, естественно, при себе). Но чемоданы, к сожалению, больше не дешевели.

Но все равно – отличные были чемоданы. Они нас просто сроднили.

Прогуливаясь вечерами, мы частенько заводили о них разговор.

Особенно, повторяю, нам обоим нравились замки. Стальные, блестящие, щелкающие замки. Ключи хитрые. Надежность, красота. Черта с два кто откроет такой замок. Без ключа-то. Ага! Хотелось бы посмотреть на этого идиота...

Возвращались мы порознь. Я направлялся в Москву, Серега тоже, но с залетом в Израиль – хотел попутно навестить родителей. У меня был утренний рейс, у него вечерний.

Я встал ни свет ни заря, умылся, уложил остатки своих пожитков – зубную щетку и тюбик с пастой, закрыл крышку чемодана, щелкнул запорами и запер оба по очереди.

За мной должен был заехать автобус авиакомпании, бесконечно курсирующий между аэропортом и пригородами Сиэтла.

Он и заехал.

Мы обнялись напоследок, я подхватил чемодан и спустился вниз.

Автобус неспешно катил по шоссе. Светило солнце. Я хотел в Москву.

Все было хорошо, но какая-то микроскопическая зазубрина в мозгу почему-то не давала мне покоя.

И вдруг я понял и помертвел.

Ключи!

Я забыл ключи от чемодана!

Заперев его, я почему-то бросил их на застеленную кровать! Чемодан лежал на полу у кровати! Я отнес его в прихожую, и тут выбрался из своей комнаты Серега, мы принялись кофейничать, а ключи так и остались лежать на покрывале.

Первое, что возникло в моем помраченном мозгу, – это образ шереметьевского таможенника (см. Таможня), угрюмо подбирающегося к моему чемодану с бензопилой "Дружба" в руках.

– Wait a minute! – завопил я. – Please! I've forgotten! Keys of my luggage!

Водитель обернулся. Пассажиры тоже обернулись. Мы недолго потолковали. Отъехали уже прилично, но никто, к счастью, не опаздывал. Водитель развернулся.

Когда я ворвался в квартиру, Серега так вытаращился, как будто не на самолет меня только что проводил, а в последний путь.

Так оно и было – ключи лежали на покрывале.

В аэропорту я протянул водителю пять долларов.

Он вытаращился еще пуще Сереги.
Но взял, хоть у них там это и не принято.

Черти

Чертей я видел всего один раз в жизни, когда ходил с поэтом С. смотреть, как продают пиво. Что касается самого поэта С., то он знался с чертями регулярно и любил рассказывать, какие бывают. То в виде человечка на батарее отопления: сидит, ножки свесил и кривляется. То хари фиолетовые, особенно если свет выключить. То мужик с гармошкой: плетется следом и назойливо пиликает деревенскую музыку, а оглянешься – нет никого. То мелкие такие, с собачьими головами. Эти самые противные – никак не отделаться.

Ночью с поэтом С. сидел поэт Попов. Утром приехал я.

– Саня, ты помнишь? – спросил поэт Попов, накидывая куртку. – Не пьем!

Поэт С. вяло кивнул.

– Все, погнал, – сказал поэт Попов и еще раз шепнул мне: – Держи его, держи. Хоть на амбразуру ложись, но сегодня – ни капли. Я часам к четырем подтянусь на подмогу.

Поэт Попов был человек жесткий и решительный. Когда дверь за ним закрылась, поэт С. несказанно оживился.

– Выпьем немного пива? – весело предложил он.

Судя по всему, он ждал от меня бодрой и недвусмысленной реакции. Моя реакция была и бодрой, и недвусмысленной.

– Лучше чайку вмажем, – сказал я. – Горяченького! С вареньицем! А?

– Чайку, – повторил он, разочарованно кривясь. – А пива? Немножко.

Бутылочку.

Часа два мы препирались впустую.

– Ну хоть пойдём посмотрим! – взмолился поэт С. – Я не буду пить, честно! Вот чтобы мне сгореть на этом месте! Только посмотрим – и все!

– Да зачем тебе это? – сопротивлялся я. – Что за глупость?!

– Мне легче будет! – ныл поэт С. – Я посмотрю, как люди пьют пиво, – и мне точно станет легче. Пойдем, а? А то сейчас в окно брошусь! Я имею право хотя бы посмотреть на пиво?! Почему ты меня не пускаешь?!

Пойдем!

Было похоже, что он уже был готов применить ко мне силу. Учítывая, что поэт С. являлся мастером спорта по дзюдо (а если б не пил, стал бы, чего доброго, чемпионом мира), в случае прямого столкновения мои шансы на победу были невелики, даже если учítывать его запойную слабость.

– Пошли, – сказал я. – Но учти, денег у меня нет.

Поэт С. равнодушно пожал плечами. Сам он был, разумеется, без копейки. Но его равнодушие не могло меня обмануть: я знал, что он обуян бесом, а потому как никогда хитер и изворотлив. Не исключено, что где-нибудь под стелькой его ботинка ждала своего часа заветная купюрка! Глаз да глаз за ним, глаз да глаз!..

Длинным извилистым маршрутом мы обошли околоток. Я понемногу заводился, поскольку предчувствовал неприятности. К счастью, пива не было ни на Добролюбова, ни у прачечной, ни возле пруда. Не было пива и у карусели. Даже на Огородном, напротив пивзавода, той теплой осенью тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года пива тоже не оказалось.

– Ну и хорошо, – с облегчением толковал я, пока мы шагали к дому. –

Что тебе это пиво? Живот от него да отрыжка, вот и все радости.

Видишь, Саня, никто не пьет пива. Одно дело – если б ты один пива не пил. Это, конечно, беда и страдание.

А тут видишь как? – никто в стране пива не пьет! За компанию-то легче! А? В стране борьба с пьянством! Алкоголь вне закона!..

Поэт С. угрюмо молчал.

Осталось сделать десяток шагов до подъезда...

Тут-то он и явился.

Чертяка имел обличье ледащего мелкотравчатого мужичка в обтруханном пиджаке с отвислыми карманами и таких же пузырчатых штанах. В правой руке черт нес матерчатую котомку. Проходя мимо нас, он нехорошо зыркнул. А потом нарочно оступился, дрыгнул шкодливой своей ручонкой

– и в котомке что-то брякнуло! Причем брякнуло определенно пивным звуком!

Поэт С. встал как вкопанный!

– В продуктивном же! – счастливо сказал он. – Бутылочное же в продуктивном!

Как я ни упирался, как ни вис на нем, но уже через три минуты мы ворвались в стекляшку продуктового – и обнаружили только несколько пустых ящиков в центре зала.

– Вот видишь, Саня, – сказал я, переводя дух и утирая пот со лба. –

Пиво кончилось.

– А какое было? – горестно спросил он. – А?

Я не ответил. Я чувствовал себя опустошенным.

Мы вышли из магазина, свернули за угол и увидели второго черта. Он показался из дверей служебного хода, одет был вполне прилично, в левой руке держал дипломат, а в правой – две бутылки пива.

– Стой! – застонал я, когда поэт С. сомнамбулически двинулся туда.

Конечно, я знал, что с черного хода пиво дают не всем, а только нужным людям и друзьям. Друзей, насколько я понимал, у поэта С. здесь не было. Что же касается его нужности, то в настоящий момент о ней

было бы смешно говорить. Однако силы тьмы не дремали, а меня душила дикая злоба – все мои усилия вот-вот пойдут насмарку!

Поэтому я опередил поэта С. и первым ворвался в коридор.

В другом конце этой длинной, вонькой и плохо освещенной кишки была видна унылая, наряженная в черный халат фигура уборщицы – она хлюпала шваброй, размазывая грязь по кафельному полу.

Зато справа была открыта дверь в светлый и уютный кабинет. За столом с бумагами и телефонным аппаратом сидела полная женщина в бордовой мохеровой кофте. Поверх кофты был наброшен белоснежный халат.

Напротив нее в кресле, скрестив ноги в черных лакированных ботинках, ловко устроился чернявый мужчина. Я заметил золотой перстень на пальце. Во рту торчала дымящаяся сигарета.

– Да как вы смеете!!! – заорал я. – Вы что себе позволяете!!!

Мерзавцы!!! Телефон вышестоящей организации!!! Немедленно!!! Ворье!!!

Мое оформленное таким образом появление стало для них полной неожиданностью. Сигарета выпала из золотых зубов окаменевшего чернявого. Мохеровая, растерянно поднеся сверкающие пальцы к сверкающей же груди, тоже остолбенела и выпучила глаза.

– Пиво с черного хода?!! – надрывался я, трясясь от ненависти. – Под суд!!! Милицию на вас!!! Обэхээсэс!!! Где телефон?!! Телефон, я спрашиваю, где?!!

Добиваться от них ответа, конечно же, было бесполезно. Чернявый налился черной кровью, мохеровая позеленела.

– Идеалы разрушать?!! Вы не советские!!! Как с вами строить коммунизм?!! – вопил я. – Хрен с вами тут чего построишь!!!

Поэт С. тупо и неподвижно стоял за моей спиной.
– Сволочи!!! С конфискацией!!! На баланду!!! На воду с хлебом!!!

Расстреливать таких!!!

Тут я заметил боковым зрением какое-то движение, на мгновение оглянулся и тоже окаменел.

Раскосая скуластая уборщица татарской наружности (см. Евреи) протягивала поэту С. две бутылки пива.

И пальцы поэта С. сходились на них железной хваткой дзюдоиста.

– Вот, пожалуйста, возьмите! – плаксиво бормотала она, жестом отчаяния поднося освободившиеся руки к вискам. – Я свое отдаю!

Только, если можно, пусть он больше не кричит!..

Шум

На мой взгляд, шум так же отличается от музыки, как тьма – от света.

Когда-то у меня в машине не было радиоприемника. И все не доходили руки им обзавестись. И то будущее, в котором у меня в машине будет радио, казалось мне просто сказочным. Волшебным оно мне представлялось. Хочешь такую музыку, повернул ручку – и вот она!

Хочешь сякую музыку, нажал кнопку – и пожалуйста!

Но когда радио появилось, стало понятно, что музыки нет. Это шума очень много. И такого, и сякого, и с мужскими голосами, и с женскими, и с бряканьями, и с визгами, и с писками, и с гулом, и с ревом – просто на любой вкус.

А музыки – нет! Редко-редко ее можно услышать, музыку-то. И всегда урывком – как будто украли они эту музыку. И, как скупщики краденого, показали клочок из-под полы – вот, мол, есть! И тут же бац!

– опять шум.

И напрасно Юлиан Тувим высказывался в том духе, что, мол, радио – великое изобретение: одно движение пальца – и его уже не слышно!

Попробуйте добиться этого простого движения в кафе или баре, куда зашли выпить чаю или пива и где из плохих динамиков на вашу голову обрушиваются идиотски восторженные вопли какой-нибудь удалой радиостанции! Черта с два вы его добьетесь! – вас будут упрямо глушить под тем предлогом, что большинство клиентов любит музыку...

Вообще, понимание разных людей, что есть музыка и что есть шум, очень сильно отличается. Просто удивительно, как сильно отличается.

Вот, например, я летел в самолете. В самолетах – плюс к тесноте, духоте, нетрезвому соседу и общему изныванию всего организма – частенько применяют эту добавочную пытку. Индивидуального музыкального окормления в старых лайнерах не бывает. Поэтому включают магнитофон – и из общих динамиков сквозь гудение двигателей и неясный в целом дребезг, которым сопровождается перемещение в воздушном пространстве, начинают доноситься то обрывки поющего голоса, то серии бессвязных аккордов.

Кассета одна. Когда, например, летишь в Душанбе, используют часовую двухстороннюю кассету. На одной стороне – тридцать минут национальной (см. Национальность) музыки. На другой – тридцать минут интернационального буханья и Пугачевой.

Я вызвал стюардессу и очень вежливо попросил выключить.

Если можно, конечно.

Если это не беспокоит других пассажиров.

– Ведь все равно почти ничего не слышно, – добавил я извиняющимся голосом.

Она наклонилась ко мне и спросила, изумленно расширив глаза, взволнованным, озабоченным и недоверчивым тоном:

– Вы что, музыки не любите?!

Щекотливое положение

Знакомый психиатр рассказывал про пациента.

Тот пришел на прием, сказал, что ему стало значительно лучше, а затем сообщил, что недавно попал в очень щекотливое положение.

– Какое же? – спросил психиатр.

– Понимаете, доктор, – начал рассказывать пациент.

– Я вхожу в комнату... а там теща спит.

Он замолк и начал в задумчивости легонько поламывать тонкие нервные пальцы.

– Ну? – поторопил его психиатр.

– Да, спит. И я смотрю – у нее на шее жилка так и бьется, так и бьется!.. А на столе лежит нож... большой такой нож...

– Гм! – обеспокоенно сказал психиатр.

– А он-то. – Пациент потыкал большим пальцем вверх и подмигнул психиатру со специфическим выражением – мол, мы-то, люди посвященные, знаем, о ком идет речь. – Он-то мне и шепчет: возьми нож! И ножом по жилке! По жилке!

Пациент сделал несколько ожесточенных движений, иллюстрирующих сказанное.

Психиатр снял очки.

– А я взял нож – и в окно выбросил!

Пациент подался к столу и взволнованно спросил:

– Скажите, доктор, я правильно сделал?

Ыйбен

"Ыйбен (буквально – "Войско за правое дело", или "Армия справедливости") – в средневековой Корее народные ополчения, создававшиеся для отражения иноземных захватчиков; в новое время – вооруженные отряды корейских патриотов, созданные для борьбы с японскими агрессорами..." (БСЭ, т. 48, второе издание).

В 48-м томе БСЭ второго издания приведены еще три статьи на букву

"ы" (не считая статьи про саму букву "ы"):ЫЙЧЖУ,ЫЛЬЧИ МУНДОК , ЫНЫКЧАНСКИЙ.

Экзамен по вождению

Я сдавал его пять раз.

В первый раз я еще не умел ездить.

Во второй умел, но плохо.

В третий раз я уже ездил хорошо. Но меня сбили с толку. Мы стояли на площадке, с тревогой наблюдая за происходящим. Всегда прежде экзаменовали на "Жигулях". Сегодня почему-то оказались "Москвичи" – столпы советского автопрома. Безнадежно следя за их эволюциями на площадке, знатоки толковали, что водить их – сущая мука. Что-де с ними и профессионалы порой не справляются.

Когда пришла моя очередь, я внутренне собрался. Я знал, что езжу хорошо. Я должен был сдать этот проклятый экзамен. Я пристегнул себя ремнем к сиденью и неспешно поправил зеркала.милицейский капитан посмотрел на меня с нескрываемым одобрением. Я выжал сцепление и повернул ключ. Двигатель исправно завелся.

Я выжал сцепление, включил первую передачу и начал трогаться.

Но "Москвич" не трогался.

Точнее, трогался очень плохо. К счастью, я был к этому готов – ведь мне только что объяснили, что сей механизм в принципе не предназначен для езды!

Мне пришлось использовать все свое умение.

Виртуозно играя педалями сцепления и газа и не позволяя злосчастному аппарату заглохнуть, я въехал в обозначенный вешками коридор, развернулся, выехал, затем загнал "каблук" в означенный вешками бокс, заглушил двигатель и победно утер пот со лба.

Теперь у меня нашлась секунда взглянуть на капитана.

Он сидел весь багровый и качал головой, ставя в ведомость жирный "минус".

Оказалось, я не снял машину с ручного тормоза.

В четвертый раз я и с тормоза машину снял. И все было бы хорошо, но мне показалось, что следует подать назад еще на пару сантиметров.

Зачем? – одному богу известно. И вешка упала. И экзаменатор развел руками.

В пятый раз я оказался одним из последних. Я выполнил упражнения на площадке. Экзаменатор – на этот раз это был лейтенант – поставил в ведомость плюс. Мы выбрались из машины. Теперь нужно было ехать в город и демонстрировать свое умение на улицах. Лейтенант оглянулся.

– Вот вы, – сказал он, указывая на меня. – Уберите вешки!

Возможно, если бы я пришел на экзамен впервые, у меня хватило бы ума возмутиться. Мол, почему я?! Мол, я вам тут не нанялся!.. Но я пришел в пятый раз. И отчетливо понимал, что любое дополнительное действие с моей стороны является краеугольным камнем дополнительного благодеяния с его. И справился с этими тяжеленными вешками просто играючи.

– Последним останешься, – буркнул мне лейтенант, когда четверо экзаменуемых рассаживались в машине.

С первыми двумя лейтенант сладил легко. Один не смог тронуться в горку. Другой не заметил знака ограничения скорости. С третьим, правда, ему пришлось повозиться. Парень ездил хорошо. Все замечал. И в горку трогался. Просто сладу с ним никакого не было.

– Ладно, останавливай, – буркнул лейтенант.

Парень послушно остановился – меньше чем в метре от въезда направо во двор.

И лейтенант его восторженно выгнал.

Пришла моя очередь. Я тронулся в горку, а потом еще в одну, к которой мы специально приехали. Я все видел и все замечал. Я отказался останавливаться там, где остановка была запрещена. Мы поездили еще.

– Ладно, – с отвращением сказал лейтенант. – Что с тобой делать...

Развернул ведомость.

Авторучка зависла над бумагой.

Он должен был поставить последний и окончательный "плюс", но было видно, что необходимость этого простого действия вызывает в его милицейской душе решительный протест.

– погоди, – сказал он вдруг, бросив на меня просветлевший взгляд. -

Как же! Ты же вешки убирал!

И поставил этот чертов "плюс", качая головой и радостно смеясь.

А что касается меня, то я даже не улыбнулся.

Энциклопедия

У нас в доме была энциклопедия.

Большая Советская Энциклопедия, второе издание, в 51-м томе.

Иссиня-черные книги ин-кварти. Первый том ("А" – "актуализм") сдан в печать 15 декабря 1949 года.

Подписывалась и том за томом выкупала ее саратовская бабушка, папина мама – Наталья Яковлевна Рязанова (см. Родословная).

Последний том вышел в 1955-м. Годом позже отец приехал в Саратов, запаковал в большой фанерный ящик энциклопедию и мешок картошки и отправил малой скоростью в г. Сталинабад – столицу Таджикской Советской Социалистической Республики.

Картошку съели, а энциклопедия еще два года лежала в том самом ящике

– ее негде было расставить. В 1959-м мы переехали в отдельную однокомнатную квартиру. Отец заказал плотнику в Геологоуправлении стеллаж из надежной доски – "тридцатки".

И энциклопедия заняла подобающее ей место.

Я ее читал лет с семи. Иногда просто сплошь читал. Том за томом. По принципу ковровых бомбардировок. Увлекательная вещь.

До сих пор энциклопедия поражает меня своим замечательным устройством.

Фантастика! Что ни захотел узнать – вот оно, под рукой.

Потом у меня появился Брокгауз. Репринт, разумеется. И третье издание БСЭ.

Но они как-то... не знаю... хуже?.. да оставьте. Не хуже. Где еще узнать, например, все о парусном вооружении, как не в Брокгаузе!! А где еще почитать

толком... да ну, бросьте, отличные, отличные энциклопедии.

Просто не такие родные.

А вот БСЭ второго издания – ну просто бесценная вещь.

Просто бесценная.

Мы с ней всегда в обнимку.

Юрка

Мы – то есть я, Олежек и Муся – стояли у скамьи. Нам было лет по восемь.

Юрка Жуков и какой-то человек из белых домов, имени которого мы не знали, сидели на спинке скамьи, поставив на сиденье грязные ноги в пыльных сандалетах.

Они курили и говорили о взрослом. Точнее, Юрка рассказывал, а человек из белых домов только ахал, ужасался, прыскал и бил себя левой ладонью по голой коленке. Он был в коротких штанах.

А мы слушали раскрыв рты и онемев в судороге блаженного внимания и многого не понимали.

Человеку из белых домов было лет тринадцать. Если он не бил себя по коленке, то качал головой и сплевывал. Вообще, вид у него был какой-то неубедительный. Руки в цыпках. Еще эти короткие штаны...

Юрка был старше, значительно старше – ему, должно быть, стукнуло пятнадцать. Ну, самый край – четырнадцать. Он был король нашего двора, этот Юрка. Высокий, сильный, мужественный и взрослый. И прыщи его совершенно не портили.

– А что тут непонятного, – сдержанно и несколько покровительственно говорил он, выпуская сизый дым. – Он говорит, так запыхался, что вообще ничего не понял.

– Не понял?! – из белых домов прыснул и ударил себя по коленке. –

Ничего себе! А она все равно, что ли?

Юрка взглянул на него с превосходством во взгляде.

– Что – "все равно"?

– Ну, это самое-то!.. забеременела-то!..

И человек из белых домов с горящими глазами покрутил рукой вокруг своего тощего живота.

– В том-то и дело...

– А ему-то сколько?

– Чего "сколько"?

– Ну, лет, лет ему сколько?

– Четырнадцать, – нехотя ответил Юрка.

– Ух ты!.. А это... а ей сколько? – спросил из белых домов.

– Чего "сколько"?

– Ну, лет-то, лет ей сколько? – нетерпеливо повторил тот.

– Тринадцать...

– Ух ты! Ничего себе! В тринадцать лет?!

Затянувшись, Юрка отнес ото рта сигарету, насмешливо посмотрел на человека из белых домов и сказал:

– Ты что, больной? В тринадцать! Они и в двенадцать уже залетают!..

Окурок был уже совсем незначительным. Юрка зажал его между напряженным указательным и большим пальцем, повел взглядом, выискивая место, куда бы щелкнуть.

Заметил нас, оцепенело стоявших перед ним с разинутыми ртами.

– Вот так, ребятки, – сказал он со вздохом. – Е...ь, пока маленькие.

И запулил окурок в заросли палисадника.

Язык

В свое время меня поразила фраза женщины, эмигрировавшей из

Ленинграда в США, город Сиэтл, штат Вашингтон (см. Чемодан), и безвылазно просидевшей там 22 года. Про каких-то своих приятелей эта женщина на родном ей русском языке говорила буквально следующее:

– Они адаптировали двух китайцев, один из них оказался наркоматиком.

В Замке (см.) я, как правило, завтракал в молчании.

Потому что русским здесь никто не владел даже в такой степени, чтобы рассказать про адаптацию китайцев, самому же мне говорить на иных языках затруднительно. Я давно понял, что изучение языков проходит в два этапа. Первый – это когда ты не знаешь, как сказать. Второй – ума не приложишь, что сказать.

Что бы ты ни сказал, это высказывание иностранца, чужеземца, русского. О чем можно говорить с чужеземцем? Разве что о погоде.

В отношении немецкого я находился на первом этапе. Мой английский был на втором. Короче говоря, поскольку погода почти всегда была чудесной, я предпочитал помалкивать.

Однажды пошел дождь, и утром, глядя на туманное озеро сквозь окна зимнего сада, я заметил:

– Нет ничего лучше плохой погоды.

Английский писатель, примерно мой ровесник и такой же, как я, стипендиат, в то время переводил Андрея Платонова и очень им восхищался. Он мог и не знать, что моя фраза (по крайней мере в обратном переводе на русский) является названием одного из

романов болгарина Богомила Райнова, когда-то популярного в СССР. Скорее всего, так оно и было.

Он недоуменно посмотрел на меня:

– Что?

Я повторил.

Он пошевелил губами, повторяя про себя.

Он не понимал. То есть каждое отдельное слово ему было знакомо, но общий смысл ускользал. Еще точнее: он и смысл улавливал, но не мог его принять. Просто не в силах был с ним согласиться. Мое высказывание казалось ему диким. Ну как, например, "больше всего я люблю ненавидеть синие апельсины!".

Англичанин аккуратно отставил чашку и настороженно на меня посмотрел. Не знаю, что ему почудилось.

– Э-э-э... Это как бы шутка... – сказал я, припомнив Дика Дагласа

(см.). – Парадокс... э-э-э... Понимаете, я не люблю солнца.

Он бросил на меня еще один дикий взгляд, в котором читалось что-то вроде: "Сатанисты?! Морлоки?.."

– Я, видите ли, вырос в Таджикистане. Там очень жарко. Дожди идут редко. Хорошо, если в конце октября пройдет дождь, – толковал я. –

Очень редкая вещь, понимаете? Поэтому я люблю дожди. Ну как бы еще объяснить...

Безнадежное дело – на чужом языке, ворочающемся во рту как пластмассовый, объяснить, как я в детстве любил дождь! До оторопи, до сладкого замирания!.. Однажды долго не мог уснуть, мучаясь тяжелой жарой, а уснув, был разбужен шумом ночного ливня. Я представлял себе, как струи воды бьют по спекшейся глине, хлещут по жестким пыльным листьям, барабанят по жестяному козырьку над окном полуподвала!.. Вода шумела, шумела, я просыпался не раз и не два, но

просыпался счастливым – шел дождь, долгожданный дождь! – и, повернувшись на другой бок, улыбаясь, медленно засыпал под этот сладкий грохот... Утром пережил настоящее отчаяние – оказалось, что это всего лишь сосед со второго этажа решил полить палисадник и бросил из окна резиновую кишку. Шланг не доставал до земли, вот и шумела неживая водопроводная вода...

Англичанин посмотрел на меня долгим взглядом и вдруг расплылся в улыбке. Честно сказать, она показалась мне несколько искусственной.

– Ах вот в чем дело! – сказал он, поднимаясь со стула. – Вот в чем дело! Нет ничего лучше плохой погоды! Ха-ха-ха! Да вы шутник!

Осторожно похлопал меня по плечу жестом одобрения и, качая головой и похохатывая, направился к дверям.

И я еще слышал, как он повторяет в коридоре:

– Ну и шутник! Нет ничего лучше плохой погоды! Ха-ха-ха!.. Ну и шутник!..

^1 Подождите минуточку! Пожалуйста! Я забыл ключи от чемодана! (англ.)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)